СЕЛИМ ЯЛКУТ

Мир Бориса Лекаря

ДУХ І ЛІТЕРА
1012










СОДЕРЖАНИЕ

И вот я говорю: забудь про все!
Взгляни на серый дым.
Все холоднее холода, к которым он уходит.
Вот так и ты пойдешь за ним.

Бертольд Брехт
Добрый человек из Сезуана

Есть особенное время между настоящим и прошлым Оно отделяет состоявшуюся жизнь от всех остальных, длящихся в земном каждодневном измерении. Это время принадлежит памяти, отсюда она начинается и длится. работа памяти. У Бориса Лекаря есть большое преимущество, он был художником и воспоминания о нем имеют материальное подтверждение, насколько можно считать материальной работу художника, и созданный им мир. Этому сопутствуют непременные рассуждения о духовности и растворению биографии в туманящемся пространстве дат и событий. Такова участь художника, в той же степени человека, как и творца, явления, по которому когда-нибудь станут оценивать самое время. О результатах остается только гадать, но основания такие есть, и почему бы не предаться этому занятию, мечтаниям, которые должны сохранить нас всех вместе, одним поколением в неясном будущем.

Очень не хочется выглядеть торжественным. Прошлый век до тошноты объелся славословиями и проклятиями в адрес одних и тех же портретных гуру, движущих историю по собственному разумению и истинно верным теориям. Так, по крайней мере, принято считать в каждый отдельно взятый отрезок эпохи. На этом фоне так называемый простой человек, выглядит игрушкой обстоятельств. Иначе необходимы доказательства. Хорошо, когда их не нужно далеко и специально искать. Достаточно приглядеться к отдельным лицам, к поведению и поступкам. Значительные и не очень, они складываются в биографии (можно сказать, жизнеописания), биография Бориса Лекаря тому пример.

Немного грустный эпиграф для начала, не правда, ли? Но так оно и есть. Художник Борис Лекарь был именно таким человеком: очень добрым, немного грустным и чуть «не от мира сего». Было в нем что-то от сказочника. Эта аура ощущалась, аура странника, пытающегося передать загадочное очарование нашего мира. Таким он его видел и пытался воссоздать.

Борис Лекарь – художник экспериментатор. Можно восторгаться его работами или относиться к ним спокойно, но они запоминаются, остаются перед глазами и служат мерилом сравнительной оценки типа: – Глядите, прямо как у Лекаря... Узнавание – одна из примет творческой удачи, очень немногое из увиденного оставляет след в памяти. Масса информации, в том числе зрительной, картинной (экран телевизора – тоже картинка) обрушивается на нас изо дня в день. Есть на что посмотреть, благодаря и даже вопреки собственному желанию. Что в сравнении с ними акваредь, *какая-то акварель* – даже так можно сказать... Но она есть. Со всех сторон слышатся голоса о безграничных возможностях самовыражения. Разговоры – это отдельный жанр, разговорный, он не создает нового, пока «мир вращается неслышно вокруг творцов новых ценностей» (Ф.Ницше). Для определения подлинности существует свой камертон, своя безошибочно взятая нота. Она заставляет нас вслушиваться.

Сомнения были Борису Лекарю свойственны. Рефлексия – спутник постоянно думающего человека. Он преодолевал ее в поединке с рабочей поверхностью холста, бумаги, картона, чертежной доски. Это была почти мучительная потребность высказаться, вступить в диалог с миром и донести явленный результат. Дано не каждому, но есть люди, которым это удается – оставить свой голос. Сравнения из области музыки с трудом передают визуальную образность, но к творчеству Бориса Лекаря они имеют прямое отношение. Борис всегда говорил тихим голосом. Но он хотел быть услышан и сумел свое желание выразить. За него говорят его работы. Собственный комментарий позволяет связать их воедино с намерениями автора. Он не объясняет (объяснение в видимом), но еще раз позволяет вслушаться.

Как-то незаметно пройден довольно длинный путь. И в поисках этого пути самой большой ценностью для меня, по крайней

мефе, в искусстве, является его духовность, соприкосновение с Бесконечным, Бескрайним, а следовательно, с величайшей тайной, до конца не разгаданной. Разные художники идут к этому различными путями, я же пытаюсь – уже много лет – хоть как-то приблизиться к тайне через свет, ибо сказано в Торе: в Свете Твоем увидим Свет. Для меня Свет носитель не только Духа, но и Добра в нашем обычном, человеческом его понимании. К тому же свет – одно из проявлений жизни. Полнокровная, но обогащенная Духом жизнь – мой идеал и идеал моего пути…

Так написал он о себе.

На смену громокипящим годам, грандиозным проектам, манифестам и пламенному излиянию чувств (больше за деньги) пришла камерность. Это не масштаб измерения, это органическое свойство, имеющее свои законы. По истории Бориса Лекаря это хорошо видно. Она (как любая история) имеет отношение к ощущению времени. Это время, как творческий результат, итог, как открытие, время *остановки в пути*. Или, как скажут исследователи фундаментальных свойств бытия, место стоянки человека. Подходит и то, и другое. Остановка, стоянка, место, выбранное для жизни Борисом Лекарем, его судьба.

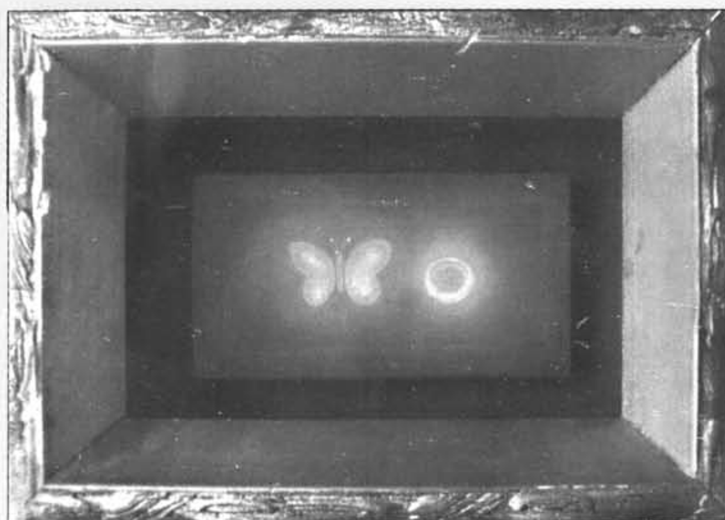
Воспоминания – занятие почтенное, но несколько скучноватое. Приходится высказываться позитивно и хвалебно. Без этого – никак. О хорошем человеке следует вспоминать хорошо. Но односторонность лишает жанр пространства, перспективы, откуда она может возникнуть, если речь идет о фигуре, не отбрасывающей тени? Хочется подправить и придать воспоминаниям объемность. Борис любил шутку, иногда довольно крутую. Но он никогда не иронизировал над людьми. Зато можно представить его, иронизирующим над нашими усилиями. Нужно быть проще. Правильный ответ лежит на видном месте, как похищенное письмо в рассказе о Шерлоке Холмсе. Что может быть лучшим подарком художнику и архитектору, чем рассказ о родных для него городах, для Бориса Лекаря – о Киеве и Иерусалиме, рассказ, подкрепленный свидетельствами, так сказать, на общем фоне – мы и он, в обнимку, плечом к плечу, совсем как на групповой фотографии, или, что еще точнее, как в жизни. Судьбу города решают история, строители (и, увы, разрушители) и ныне живущее поколение. Для каждого на-

чала есть свое собственное измерение, но участие Бориса Лекаря в этих процессах очевидно и не требует игры воображения. Вернее, само воображение оказывается подсобным инструментом, им можно пользоваться иногда, как зритель пользуется театральным биноклем, для наведения на резкость усилий собственной памяти. Но основное действие происходит прямо на глазах и не требует обострения чувств. Они работают в полной мере. Рассказывая о других, обязательно рассказываешь о себе. Кроме пространства городов, есть еще пространство времени, оно было нашим общим, и каждый узнавал в нем самого себя.

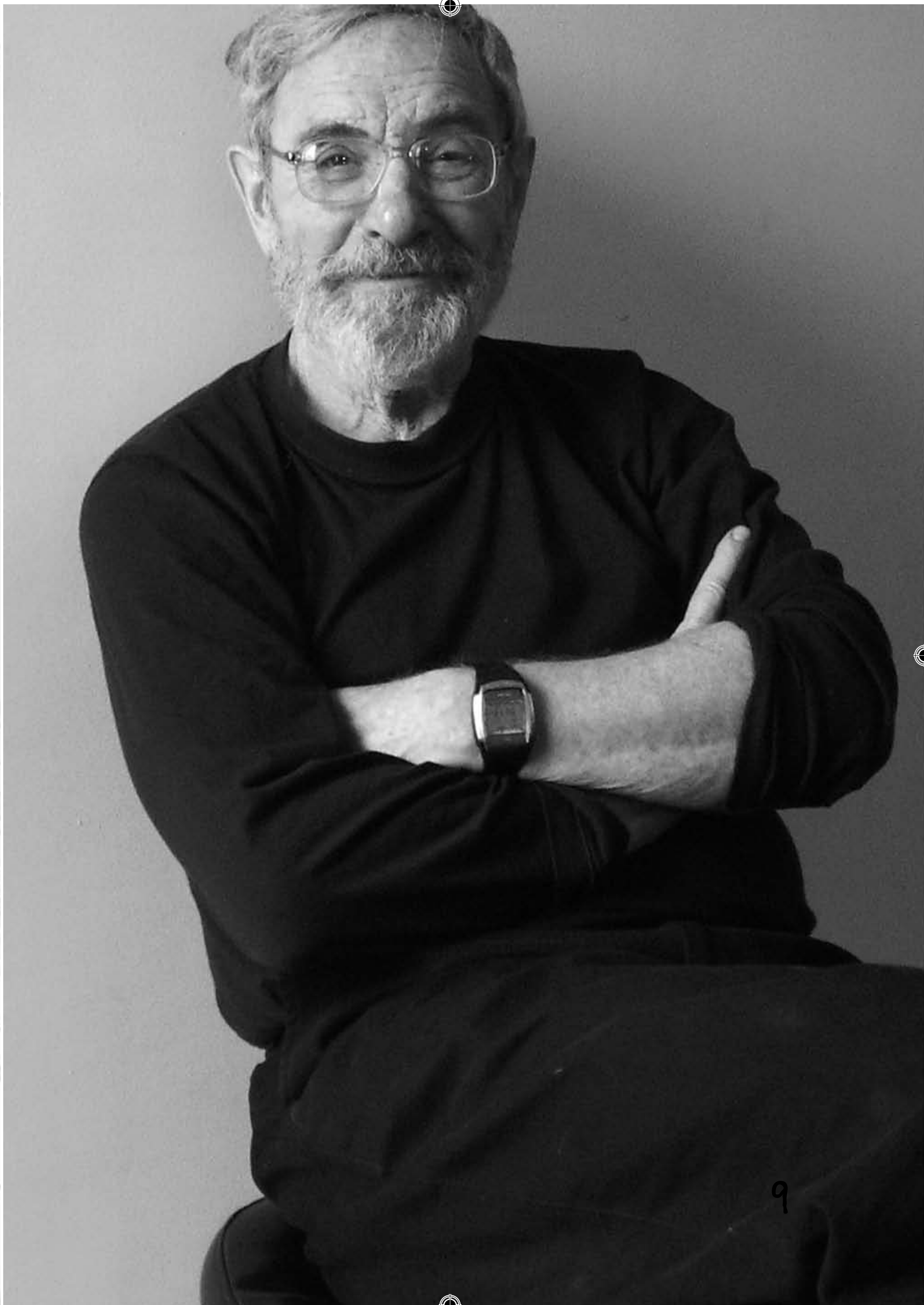
И еще... есть еще один запасной или основной (как кому) ключ к биографии Бориса Лекаря. В Киеве, в Иерусалиме...

> Особенный еврейско-русский воздух.
> Блажен, кто им когда-либо дышал.

Автор этих строк – Довид Кнут. Россиянин, парижанин, израильтянин. Свидетельства поэта бывают точнее железнодорожного расписания, и, бесспорно, намного долговечнее. Проза пасует перед истиной, здесь требуется точная форма. Аргумент на веру для тех, кто не дышал этим воздухом, и понятный для остальных.



Авторская ремарка. В ходе работы над этой книгой я побеседовал с несколькими близкими для Бориса Лекаря людьми. Я старался удерживать своих собеседников от комплиментарных оценок, полагая, что истина должна обнаружить себя сама. Как говорится, у памяти хороший вкус. Я просил больше говорить о себе. Мне не нужны были дополнительные аргументы, за меня это сделал Курт Воннегут. По его определению, все мы, чьи воспоминания приведены в этой книге, были членами одного карасса: «Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин – этот человек, скорее всего, член вашего карасса.» Ось, вокруг которой вращается карасс, называется *вампитером*. Борис Лекарь и был таким вампитером. А дальше каждый волен рассказывать сам: о городе и о себе. Орбита члена *карасса* удерживает его вокруг общего вампитера, и помогает каждому занять свое место.





На фото Григорий Маркович Лекарь 1899 года рождения. Его отец – кузнец умер, когда сыну было тринадцать лет, Семья тогда жила в местечке Прищепино под Екатеринославом, потом друг отца, служивший в Государственном банке, забрал мальчика к себе в Мелитополь. И обучал за свой счет. Мать – Анна Лекарь умерла много позже мужа – в 64 года. О детстве Григория Марковича известно очень мало, хотя, как он любил вспоминать, жили они неплохо, работал один отец, раз в год все члены семьи получали новые ботинки.

Во время гражданской войны через юг Украины проходили разные войска. Больше впечатлений сохранила будущая жена Григория Марковича Татьяна Самойловна. Удивительно, как разнятся впечатления об одних и тех же событиях у, казалось бы, беспристрастных свидетелей и очевидцев. Татьяна Самойловна считает, что при деникинцах было спокойно. А махновцы могли грабануть. Когда колотили в дверь, через окно с другой стороны дома вытаскивали детей, следом, что было ценного (вещи стояли наготове), потом шли открывать. Заранее предсказать, чем закончится посещение, было невозможно. Открывать нужно было обязательно, дверь бы все равно выломали.

Были интересные ситуации. Отец Татьяны Самойловны, богатый кустарь, поехал в Феодосию по делам, а когда узнал, что Мелитополь вот-вот возьмут красные, решил бежать за границу. От красных он добра не ждал. Уговорил семью. На вокзале – паника, сесть в поезд невозможно, но Татьяна Самойловна дружила в гимназии с дочерью директора банка, и их взяли в банковский вагон. Добрались до Феодосии и застряли. Красные как раз брали Крым, беженцы метались толпами. Женщины уговорили отца вернуться домой. Они поехали назад в Мелитополь, в Джанкое семью задержали. Большевики отлавливали буржуев. Объяснить цель поездки (в Феодосию и назад) глава семьи не мог и его по-



Харьков. Дом с колоннами. 60-е годы.
Акварель, фрагмент.

вели расстреливать. Но тут, на его счастье, встретился комиссар и удивился: – Хлопці, ви шо, подуріли? Це ж Самойло. Ми в нього на горищі літературу ховали.

Оказалось, что местные подпольщики хранили на чердаке мелитопольского дома подпольную литературу. Без ведома главы семьи. Теперь стали понятны загадочные слова родственника Шахматова: – Фаня, не уезжайте. Вас не тронут. Я знаю, что говорю.

Фаня – это мать Татьяны Самойловны, будущая теща Григория Марковича.Григорий Маркович был молчаливым и сдержанным человеком. Возможно, потому и запомнилось о нем сравнительно мало. Он закончил харьковский технический институт по строительной специальности. Всю трудовую жизнь – 40 лет – проработал в одной организации – Гипрококсе, куда пришел чертежни-

ком, а уволился главным специалистом института. Он отвечал за все институтские проекты. Заведующая отдела кадров, оформлявшая его документы, расчувствовалась (ох, эта канцеляристская умиленность): – Если бы все были такие, как вы, наша профессия была бы не нужна.

С Татьяной Самойловной, будущей женой, Григорий Маркович познакомился на встрече Нового года. В молодости это была очень живая девица – играла на пианино, пела. Как-то уже при Григории Марковиче сплясала на столе под Сильву, спрыгнула, сломала каблук. Григорий Маркович ревновал. Как-то понаблюдал ее разговор с подругами и сказал с облегчением: – Сегодня убедился, что ты не кокетничаешь, ты и с женщинами так же себя ведешь.



Б. Лекарь в армии

Влюбился Григорий Маркович сразу, прислал из Харькова особенную открытку с рисунком. Поженились они в двадцать восьмом году, Татьяна Самойловна училась в Фармацевтическом институте в Симферополе, но учебу не закончила, ухаживала за умирающим братом и не поехала на практику. Это была тяжелейшая трагедия, брат умер от лейкоза 31 января 1932 года. Мать хотела покончить с собой. Поэтому Татьяна Самойловна решила учебу отложить и побыстрее обзавестись ребенком. Правильно поступила, мать успокоилась, сама нянчила, не давала молодым родителям подойти к сыну.

Переехали в Харьков. Отец Татьяны Самойловны (тот самый, который пытался эмигрировать) был крепкий кустарь, из тех, ко-

торые более всего ценят независимость. До революции он ремонтировал и красил церковные купола, а теперь стал делать всякие игрушки, погремушки из целлулоида. В мастерской постоянно пахло ацетоном. Приходил фининспектор, принюхивался, опять заходил, искал к чему придраться.

В тридцать четвертом году Григорий Маркович получил квартиру – две комнаты на трех человек. Жизнь текла очень размеренно, репрессии тридцатых годов его не затронули, хоть в институте были аресты и главного инженера забрали. На коллективном снимке сотрудников института некоторые лица пришлось заретушировать. Григория Марковича не пустили в командировку в Америку, тут он сам виноват, честно написал, что имеет за границей родственников. С ними никогда не общался, даже не знаком, но факт тот, что родственники есть. Этого было достаточно.

Во время войны они всей семьей эвакуировались в Губаху – заснеженный городок в Свердловской области со множеством ссыльных. Жили дружно. Григорий Маркович круглосуточно проектировал коксохимические заводы. Тесть-кустарь ремонтировал крыши и делал ведра из оцинкованной жести. Подрастающий сын ходил с товарищами по госпиталям. Помогали раненым везти переписку, искать семьи, затерявшиеся в эвакуации, разгружали санитарные эшелоны. Потом переехали в Свердловск. Центральную площадь города раскопали под огороды, Татьяне Самойловне выделили участок. Как-то постучал человек, объявил – помощь АРА и вручил большую банку американского шоколада, ярко-желтый жестяной цилиндр высотой сантиметров сорок.

Очень скучали по Харькову, вернулись одними из первых, 6 мая 1943 года. Помнят бурную ночь 9 мая 1945 года, когда вся центральная площадь Харькова (считается наибольшей в Европе) была запружена ликующими толпами.

Григорий Маркович был дисциплинированным, методичным, доброжелательным человеком. Еще до войны болел язвой, регулярно ездил в Ессентуки лечиться. Играл в теннис, имел собственную ракетку, белые парусиновые туфли регулярно начищал зубным порошком. Помогал сыну по математике и радовался его первым успехам в архитектуре. Вместе с друзьями-ворчунами тайком поругивал советскую власть, но дисциплинированно ходил на

собрания и выборы. После выхода на пенсию увлекся огородом. В первую послевоенную лотерею выиграл мотоцикл М-72 с коляской, который обменяли на подержанный опель-кадет у профессора из соседнего подъезда. Сын пристрастился ездить, а машина все-таки безопаснее. Григорий Маркович и сам любил прокатиться на дачу, только не спеша. В 1960 году Григория Марковича наградили Орденом Трудового Красного Знамени, в шестьдесят четвертом он ушел *на заслуженный отдых*.

После рождения внучки Григорий Маркович с женой решило переезжать в Киев. Нашли подходящий обмен на Русановке, рядом с сыном, однокомнатную квартиру площадью девятнадцать метров. Но по жилищным нормам для обмена (десять метров на человека) полагалось двадцать. Метра не хватило. Им отказывали самым издевательским образом. Можно полагать, национальность имела значение. Логики никакой, ведь однокомнатная изначально рассчитана на двоих. Они отчаялись писать заявления и ходить по инстанциям. Удобнейший обмен срывался.

Как раз в это время сын утвердил проект прогулочной аллеи от Софиевской площади к фуникулеру и приступил к его реализации. Это было очень престижное и ответственное дело. Лицо города. Первый секретарь обкома Александр Ботвин пользовался этим маршрутом ежедневно, он жил тогда на площади Богдана Хмельницкого (теперь Софийской), а трудился – на Правительственной (теперь Михайловской) площади в помпезном доме с колоннадой. Дом этот выстроили перед войной. Секретарь ходил на службу пешком. Известно, что высокое начальство любит опекать градостроительные проекты. В гуще трудового народа – тут и архитектор (наша интеллигенция), и рабочие, и сам к делу, получается, причастен. Архитектора Бориса Лекаря Ботвин знал в лицо. Тот решил воспользоваться. Буквально в этот день окончательно решалась судьба родительского обмена, и совершенно ясная виделась перспектива – заявление отклонят. Сын ждал у обкомовской тропы. Он должен был броситься к высокому начальству и просить, как издавна повелось на Руси. Именно здесь она и начиналась – Русь, у этих самых скифских истуканов, самое место для челобитной. Сын издали увидел черную машину у подъезда и понял, что Ботвин отменил утренний променад. Сегодня он решил ехать.

Как некстати. Что делать? По своему же променаду сын бросился к обкомовским колоннам. Еле успел, как раз вровень с подкатившей машиной. Добежал почти до дверцы и был схвачен охраной. Ботвин поглядел, узнал, велел отпустить. Обнадеженный архитектор, пыхтя после пробежки, изложил суть. Что вот внучка. Что Харьков. Трудился многие годы. На благо Родины. А тут метра не хватает. – Лекарь? – переспросил Ботвин. – Гипрокококс? Так это я ему орден вручал. Вот телефон. Позвонишь через час.



Борис Лекарь после института

История получилась в жанре социалистического реализма. Ясно, что вопрос был решен положительно. И прогулочная аллея удалась, потому что трудовой успех и победа на бытовом фронте взаимосвязаны. И партийный деятель показал себя с лучшей стороны, проявил заботу о людях. Банальный сюжет, но дает повод для размышления. Какова партийная память. Когда этот чиновник Лекаря наградил, и сколько таких еще было – награждаемых, а он запомнил. Толковый человек. И, как бы в противовес, совсем пустяковое, вздорное основание, по которому пришлось власть употребить. Если сопоставить, очевидна тупая инертность системы, в которой и партийный чиновник, и молодой архитектор, и старый орденоносец Лекарь увязли, как мухи в паутине. Это было в *застойное* время.

Впрочем, было в этом времени и нечто приятное. Григорий Маркович и Татьяна Самойловна любили бывать в домах отдыха архитекторов. Сын брал путевки как член Союза архитекторов. Последние годы Григорий Маркович много гулял по Русановке. Врачи рекомендовали. Он выхаживал широким упрямым шагом, отмахивая в такт руками. У него была военная горделивая выправка, хоть человек он был сугубо гражданский.

В ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

История длиной в жизнь (Леонид Финберг)

С Борей мы были близкими друзьями. Есть люди, как линза, через нее рассматриваешь свою собственную жизнь. Они увеличивают главное, оставляя без внимания все прочее. Так вспоминается лучше. В Боре Лекаре это было. Странное сочетание мечтательности и рационализма. И доброта в основе всего..

Сначала расскажу, как я нашел для него работу в Иерусалиме. Боре приехал в самый разгар эмиграции, с работой было очень трудно, «устраиваться», как у нас говорят, он не умел.

Позвонили мне из Москвы. К ним приехала группа израильских культурологов, знакомить со страной. В дороге пропал чемодан со всем демонстрационным материалом. Знаете, как это бывает. Рассказать им есть что, а показать – ноль. В Москве они как-то вышли из положения, следующим пунктом у них значился Киев. Что-то нужно придумать. Собрал я по городу все, что было. Договорился с музеем истории Киева. Провел как объединяющую идею: Киев – Иерусалим. Проектор (тогда еще компьютеров не было), слайды. Лекции прошли с большим успехом. Руководителем группы был Директор центра Еврейского искусства при Иерусалимском Университете по имени Наркис, помогала ему милая дама Ализа Коген. Конечно, я показал им Киев. Они остались очень довольны. Тогда мне и пришло в голову.

– Мой друг – художник, архитектор сидит в Иерусалиме без работы.

– О,о, это как раз к Ализе. Она занимается архитектурой...

Повезло неслыханно. Борю определили в Университет. На половину ставки, больше ему и не требовалось, в самый раз, чтобы не являться каждый день на службу. Зато какие командировки! Тунис... Индия... десятки других стран! Обмеры и воссоздание планов местных синагог. Это его тогда здорово выручило. Он ра-



Селигер. 60-е годы. Акварель

ботал в этом центре более десяти лет. И, конечно, оправдал и мои рекомендации, и их пожелания.

А здесь, в Киеве, в Харькове, откуда Боря родом... Если сравнить, в каком-то смысле, у всех нас схожее детство в послевоенной



Селигер. 60-е годы. Акварель

стране. Жили примерно одинаково, расхождения несущественны. Учились в одних школах. Можно вообразить некую биографию поколения, к которой мы с Борей причастны, ее родовые черты.

* * *

Мне часто видятся картинки собственного взросления. Отец – квалифицированный рабочий. Он уходил, я еще спал, возвращался, я уже был в постели. Все мое время – во дворе, в футбол я здорово играл, тренеры подходили, приглашали в команду. В игре было две цели: забить гол, и не попасть мячом в соседское окно. Понятно, что важнее. Я думаю, не одна спортивная биография на этом несчастье оборвалась. Может быть, и моя… А может, потому, что я чтением увлекся. Московская тетушка подарила «Приключения барона Мюнхаузена». С него я начал, хоть историю сейчас рассказываю правдивую. У барона не хватило бы воображения.

Жили мы бедно, а моя киевская тетушка еще беднее. Жила с нами рядом. Муж вернулся с войны инвалидом, пролежал немного по госпиталям и умер. Она сама поднимала дочь, мою сестру. Боялась фининспектора. Жуткое слово – фининспектор, как вошло тогда в уши, так и застыло. Тетя шила дома занавески. «Ришелье» они назывались, фигурные занавесочки на окнах, со всякими прорезями и фестончиками. Тогдашняя бедняцкая мода. У нас был злой фининспектор. Он на тетю охотился. То есть, не только на нее, но тетин ужас я помню. Кто-то вроде сказочного страшилища. Дверь открывали по условному стуку. Иначе все вокруг стихало, и мы с сестрой норовили забраться под кровать.

Это про бизнес. А теперь про справедливость.

Топили дровами, запасались на зиму. Хранили в сараях. Не воровали, замки, конечно, были, но больше для вида, тут работал, можно сказать, общественный договор. Зимой без дров не проживешь. Пилить приходили профессионалы, работали полдня, потом тут же на дровах садились обедать. Разворачивали взятую из дома еду, открывали общее достояние – четвертушку (чекушку – так она называлась). Разливал обычно молодой, а старший подставлял стакан. Дойдя примерно до половины, молодой останавливался, спрашивал глазами. Старший примерялся к стакану. – Себе... Младший чуть доливал. – Себе... Наконец, с третьей или четвертой попытки: – Мне ...

Это о справедливости. Теперь о людях.

У нас было частное домовладение. Как ни странно, были домовладельцы. Подворные книги. Собирали с жильцов деньги и рассчитывались с государством. Какой был от этого прок? Я думаю, очень небольшой. Домовладельцев в нашем дворе было двое. Мексиканцев и Степанов. Мексиканцев? Это я себя сейчас проверяю. Кажется, не ошибся. Что его семья делала до открытия Америки, не представляю. Наверно, бывший император ацтеков, получил в нашем дворе политическое убежище. Мексиканцевы жили на втором этаже. Держали канареек, к себе не пускали. Некого было пускать, такая кругом беднота.

Степанова я хорошо помню. С его сыном в футбол играл. Одно из первых ярких жизненных впечатлений связано со Степановым.

Говорили, во время войны он был полицаем. В мое время он работал на бойне. Вижу я его в лунном свете. Как он косолапо входит во двор. Еле идет. Часов десять. Луна. Здесь его уже ждут. Свои люди. Клиенты. Степанов начинает раздавать товар. Снимает штаны и разгружает кальсоны. Вытаскивает оттуда, отовсюду, из карманов, спереди, сзади мясные кости. Я смотрю в окно. Морозный двор, тусклый свет из поднебесья, черные тени. Насчет Мюнхаузена – не знаю … А я передаю точно…



* * *

Я стал читать запоем. Поступил в механический техникум и сошелся с несколькими такими же книгочеями. Друг у меня был Миша Зборовский, его отец главный инженер Киевгаза, библиотека была такая: сколько не читай – всего не перечитаешь. Но я старался...

Отправили нас на завод. Бригада встретила с энтузиазмом, как бесплатных помощников. Но нас предупредили, должны платить. Профсоюз был за нас. Только денег не было. Выход нашелся. По-

ловину смены мы работали бесплатно, а вторую делали себе штанги. Откуда брался металл – наивный вопрос. Металл был. Это как раз не фокус. Фокус, как перебросить железяки через двухметровый забор. С наружной стороны вдоль забора шла тропа. Там стояло наше оцепление, а с завода, поднатужась, бросали... Такова примета времени. Один из моих маршрутов проходил мимо кондитерской фабрики имени Карла Маркса. В конце смены через ограду сыпались мешки и свертки. Заинтересованные лица кричали: – Пацан, чего стал, проходи быстро... Издали торопилась



охрана, люди разбегались. Конфет хотелось. Но мое первое приобретение было из металла.

Еще раз с кондитерской фабрикой я встретился в больнице. Закончил техникум, заочный институт (скажу честно, дал он мне мало) и пошел служить. У меня были проблемы с желудком, но отлынивать я не стал. Перед службой военкомат отправил меня в больницу, подлечить. Лежал с нами в палате немолодой грустный человек, еврей. Разговаривал немного, занят был своим ин-

фарктом. Оказался конструктором с кондитерской фабрики. Несчастье в том, что он придумал машину, которая делала трехслойный мармелад. Не знаю, делали ли такой мармелад до него, на других машинах, но его изобретение могло подсластить жизнь стране. Так он мечтал. И стал изобретателем на много лет вперед, пока не получил инфаркт. Этот мармелад теперь везде, но, боюсь, он его не увидел. Или мармелад не его. А может, тот, из его машины, был бы еще лучше. Я не знаю.

* * *

Потом я поехал служить. Набрался целый вагон, таких, как я одногодичников, готовых специалистов с высшим образованием. Перед отправкой сообщили, из нас будут составлять группы по специальностям. Готовьтесь, проявляйте инициативу, ваше же-

лание будут учитывать, чтобы принести максимальную пользу родной армии и военно-морскому флоту. Подготовиться мы не успели, хоть энтузиасты уже ходили со списками. Вопрос решился просто. Начальник, только поезд тронулся, запил, и нас стали выгружать без всякой нашей инициативы, по алфавиту. На своей букве Ф я доехал до самого конца маршрута – на север Кольского полуострова. В точку Африканда 1, так ее назвал с юмором геолог Ферсман. И не жалею. Учил польский язык, много времени провел на свежем воздухе, в тулупе и с карабином за плечами. Служба была не совсем по специальности, наша команда сторожила аэродром. Через тундру от нас находилась Африканда 2, целый поселок, в основном, военный, где было для меня главное – библиотека. Туда мы время от времени наезжали, и мне удалось организовать полку для «интеллигентных» книг, чтобы не искать их всякий раз. Как раз тогда появились тематические планы разных издательств, по которым можно было заказать книги на следующий год. Я выпросил эти планы в библиотеке буквально на неделю, чтобы заполнить открытки, отослать и встречать уже по киевскому адресу. Неделя прошла, а в библиотечную Африканду никто не едет. Нет оказии. Я истомился. Иду к нашему лейтенанту. – Нет, и не предвидится... Наверно, у меня был несчастный вид. – Ладно, держи свои открытки при себе. Что-нибудь придумаю.

И утром объявляют боевую тревогу. Хватаем мы оружие, садимся в машину и мчимся в Африканду. Колесили по городку, стали перед библиотекой. Лейтенант высовывается из кабины. – Давай, только быстро... И я, как был в тулупе с оружием, ввалился в библиотеку. Сдал заказ.

* * *

После армии я много лет работал в организации, которая занималась стройками электростанций, сначала тепловых, потом атомных. В Запорожской и Чернобыльской АЭС я принимал участие. Мы приезжали на место буквально первыми, разбивали палатки. Назывались мы – Отдел организации управления строительством... Занимались расчетами, как оптимально организовать приложение усилий. Жили наездами, годами, на наших глазах стройка росла, буквально с нуля. Тысячи людей съезжались со всей страны, па-

латки, вагончики, общежития, в общем, все необходимое, вплоть до кладбища. Люди в пространстве, где еще ничего нет, ни инфраструктуры, ничего. Размах грандиозный, масштабы древнеегипетские, что-то вроде огромного муравейника, в будни – работа, а по субботам – свадьбы, рождения, похороны с оркестром...

Начальником стройки Запорожской АЭС был Рэм Хенох – личность масштабная. Я его знал, потому что работал вместе с его сыном. В те же годы я познакомился с Борисом Лекарем, и както в разговоре рекомендовал его Хеноху. Боря тогда руководил архитектурной мастерской. Приехал к нам на стройку, походил, осмотрелся, предложил что-то очень разнообразное. Я, помню, удивился. Ведь я нашел ему хорошую возможность подработать. Боря пояснил, что он не имеет морального права зарабатывать сам, если сначала не обеспечит своих сотрудников. Себя в самую последнюю очередь. А среди его сотрудников – архитекторы, декоратор, скульптор. И обо всех он должен подумать, иначе он не берется. Что-то они тогда сделали общими силами: столовую, росписи какие-то, еще что-то. А я смог оценить Борины жизненные принципы. По-моему, сам он так ничего и не получил.

У меня был приятель – Алик Кальмеер. Познакомил меня с Мироном Петровским. Привел в дом, который со временем стал для меня родным. Вадим Скуратовский. Академик Платон Белецкий с женой. Хозяева – Света с Мироном. Все – люди большой гуманитарной культуры. Сначала я робел. Помню, агитировал Белецкого изучать польский язык. Он только улыбался. По-моему, он знал почти все европейские языки, восточноевропейские – это точно.

Однажды пришел Боря Лекарь. Был детский день рождения. Боря был с черным пуделем и веселил публику. Пудель подготовил в честь праздника целую программу. Лаял на все цифры до пяти и ни разу не сбился. Боря нахлобучил на голову цветной колпак и выступал клоуном. Дети визжали от счастья, взрослые хохотали до упаду. Боря был в ударе.

* * *

Еще, из тех давних воспоминаний. В Киев приехал поэт Арсений Тарковский. Пригласил его, как смутно помню, «Книжный клуб», в

общем, группа энтузиастов. И я был среди них. Нужно было показать гостю Киев, тем более, что Арсений Александрович Украиной и Киевом интересовался, так сказать, специально. У него здесь были

корни. Нужно было подобрать хорошего историка краеведа. Далеко ходить было не нужно, мой тогда еще новый приятель Вадим Леонтьевич Скуратовский был человеком энциклопедических знаний. Те, кто знают Вадима, могут подтвердить. Но не без странностей. О каждой досторимечательности Киева (и не только) мог говорить часами, буквально, срезая один культурный пласт за другим. Но для

этого его нужно было в нужную точку подвести и там поставить. Сам он – человек рассеянный, мог этого места и не найти, заблудиться по дороге. В конечном счете, мы попросили Михаила Юлиановича Брайчевского. Маститый историк, автор книги «Походження Руси». Я заслушивался его рассказами. Тогда он был в ударе. Всю историю Подола, городские пожары, архитектуру, церкви, кто, где был и жил... но Тарковского по настоящему интересовала одна тема – Григорий Сковорода. Странник, философ и богослов, восемнадцатый век. Лицо Украины. У меня есть выписки о нем, тут я хочу привести: «Нужда обрабатывала в нем сердце полезнейше и насеяла в нем семена терпения такие, которых плодами украсясь жизнь его сделала его мудрым и счастливым». Последователь Марка Аврелия. У меня сложилось впечатление, что Тарковский специально приехал в Киев, чтобы, так сказать, явочным порядком вжиться в учение

Сковороды, увидеть места его обитания. (Хоть обошел он половину Европы, знал массу живых и мертвых языков.)

Был литературный вечер, встреча с Тарковским в Институте инженеров гражданского флота (так он тогда назывался), Арсений Александрович читал стихи. Отвечал на вопросы, но выборочно, о своей биографии, о сыне – неохотно или вовсе вопрос пропускал, а вот о ценностях, привнесенных в мир Сковородой, говорил долго. Видно, эта тема жила в нем.

Вскоре после отъезда в Израиль Борис Лекарь прислал друзьям странное письмо. Большой разрезанный фигурно лист бумаги, каждому адресату – отдельная часть. Прочесть письмо можно было только собравшись всем вместе, и сложив отдельные фрагменты. Этого Боря и хотел – дружеского застолья с собственным, пусть и незримым участием. Так оно и вышло…

Мы заехали в Софию и зашли в Гончарные мастерские. Там тогда такие были. Заранее предупредили, в общем, они готовились. Вышла нам навстречу женщина лет пятидесяти или чуть постарше. Тогда такой возраст казался мне почти реликтовым, и, вообще, в этой женщине что-то было… легко представить ее где-то в тридцатые годы, в красной косынке, в лихорадке буден. Сейчас это выглядело иначе, и сам возраст свидетельствовал. И она рассказывала, видно, переживая каждый раз заново. Сначала был проект организовать здесь керамическое производство, чтобы съезжались гончары со всего мира. Но не получилось… Потом стали мечтать об Институте керамики. Но началась индустриализация, энергия ушла туда. Потом все же взялись, всерьез – Музей керамики… Тут война… А потом… Женщина развела руками, охватывая нынешнее скромное хозяйство. Так вот и живем… Арсений Александрович слушал внимательно. А потом сказал. – Главное, что бы глину не отобрали…

* * *

Я одним из первых приехал в Израиль. Еще прямого сообщения не было, летел через Кипр. Боря примчался встречать на автовокзал в Иерусалиме. У него уже была машина. Погрузились мы, он сидит, откинувшись, машина стоит. Езжай. Не могу. Разволновался. Подошел какой-то парень, вырулил нас со стоянки, только так мы поехали…

Боря водил машину несколько странно. Мне он объяснил, что евреи не любят зеленый свет. Потому он норовил сорваться на красный. Ему сходило с рук, жена Нина тоже имела права, а установить личность водителя за рулем единственной в семье машины непросто. Раз в два года (чаще просто не было) Нина отбывала штрафные курсы за нарушения вождения. Последний раз вместе с Министром транспорта Израиля. Закон в Израиле способен на чудеса.

Потом Борей овладела идея. – Новых денежных поступлений не предвидится, – сообщил он мне. – Я организовал семейный фонд помощи путешествующим. Каждый год мы с Ниной едем в новую страну. Деньги я разложил на десять лет вперед. Получилось маловато. Машину пришлось продать.

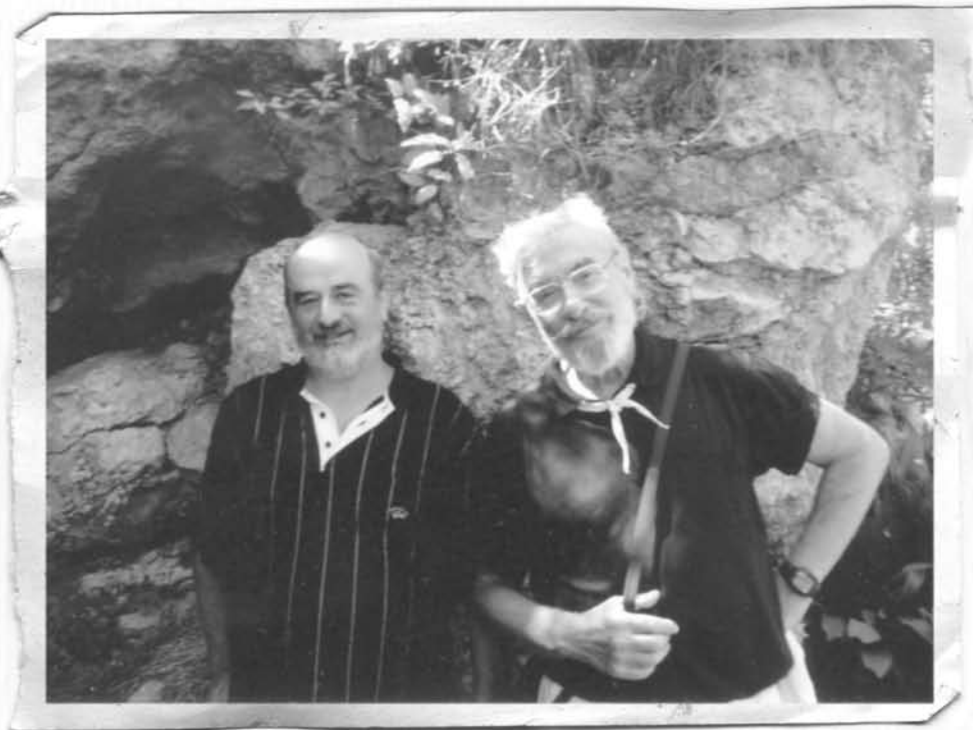
– Может быть, машину придержать… пока…

– Нет, именно сейчас…

Видно, Боря боялся передумать. Так оно и вышло.

– Я купил новую машину, – сообщил он по телефону. – Разучился общественным транспортом пользоваться. Приезжай. Сам увидишь.

И я увидел. Фольсваген, повидимому, еще с военных времен. Каким маршрутом он заехал в Палестину, непонятно. Брат-близнец нашего «Запорожца» – то ли «жука», то ли «консервной банки»,



Л.Финберг, Б. Лекарь

привожу отечественные названия по памяти, потому что таких средств передвижения в Киеве давно нет. Я специально потом обращал внимание. Плюс возраст – Борина машина была на двадцать лет старше. Все это впечатляло. Боря покрасил жука в салатовый цвет, а поверх расписал синими маргаритками. Жук смотрелся, как клумба на колесах.

– Полицейские меня знают. – Сообщил Боря беспечно. – Второй такой в Иерусалиме нет.

– И в Израиле нет.

– Не исключено. – Боря хотел оставаться объективным.

Дизайн не спас Борю от огорчений. Машина оказалась с характером, вернее, с аппетитом.– Бензина жрет невиданно. А продать некому.

– Может, перекрасишь, – предложил я.

– Тут еще одна проблема, – пожаловался Боря. – Сидения без



В День Киева на Андреевском спуске.

амортизаторов. Я подушки подкладывал. Не помогает. Мне-то ничего, а Нине... Один раз проедется, два дня сидеть не может.

Со страховыми компаниями Боря воевал. Обманывают народ, как и везде. Однажды при мне он зацепился с таким же водителем, вышли оба. Тот кипит. – Слушай, – Боря ему говорит, – что ты переживаешь. Страховку получишь. Я знаю, как...

– Откуда такая уверенность? – Я спрашиваю. – Получить страховку – это везде проблема.

Оказывается, были основания. Страховщики Боре задолжали, но долг отдавать не спешили. Боря ходил многократно и бесцельно.

– Вот, что я сейчас сделаю. – Заявил Боря в очередной раз и развернул большой транспарант. – Встану перед вашей конторой и буду стоять. Пусть все видят, что здесь жулики засели...

В транспаранте так и было написано. Половину Боре немедленно выплатили. На большее он и не рассчитывал. – Так что со страховщиками отношения хорошие...

* * *

Как-то он пришел к нам на детский день рождения. Дети расшалились. Моя жена говорит: – как бы научить их быть вместе... А Боря в ответ. – Вместе хорошо. А вот как научить, переносить одиночество...

Это была его мучительная проблема...

Он очень много нам дал в Израиле, хоть газет не читал, телевизор не смотрел. У него была своя особенная связь с этим миром. В его работах это просматривается совершенно отчетливо. Пустыня, Иерусалим... Мертвое море... То, на что способен только художник... Кому это нужно? Он не раз задавался этим вопросом. Не риторически, он имел для него буквальный смысл... Как-то надумал создать сообщество художников и музыкантов. Носился с этой мыслью. А потом мне говорит (я как раз был тогда в Израиле): – Что я такое надумал? Объединить всю израильскую бедноту...

Его это не останавливало. Отсюда его домашние выставки. Отсюда работа с безнадежно больными детьми... Он был последовательным идеалистом, и, если уточнить, идеалистом добра... Как говорится, почувствуйте разницу...

А по Киеву он очень скучал. Только приехал, остановился у нас, проговорили до трех часов ночи, просыпаемся в восемь, нет его. Вышел незаметно, вернулся спустя несколько часов совершенно счастливый. В Киеве началась зима, снег был не везде, он собирал его в ладони, дотрагивался до стен, чтобы ощутить холод... Так он нам и сказал: – Пошел смотреть снег...

Но еще, до этого... Намечался День Киева, один из новых тогда еще праздников. Народ готовился смотреть, а художники пока-

зать себя.. – Я думаю, – сказал Боря, – Арсену нужно выставиться... Арсен – наш сын занимался рисованием, но в шесть лет до выставки ему было еще далеко. – Это я беру на себя, – успокоил Боря. Он пользовался у нашего сына авторитетом.

Оба они встали под Андреевской церковью, Боря со своими акварелями, Арсен рядом с ним. Наши друзья создали Арсену популярность. По рублю его работы живо расходились, не то, что у Бори. Правда, и цены у Бори были повыше. Арсена мы остановили, когда он торопился домой. – Может, нарисую до конца дня и успею поднести...

В это время я много занимался социологией. Новая страна – Украина вызывала большой интерес. Как-то в Киеве побывал американский профессор Дэвид Рос, мой коллега. Мы подружились. Он организвал поездку в Америку. От Украины, целой группой, в которой были общественные деятели и представители власти.

Профессор отвечал за всех и, естественно, расплачивался. В Нью-Йорке мы пробыли пять дней. Собрались, уезжать, Дэвид неожиданно приобрел смущенный вид.

– Не знаю, что делать. За гостиницу я заплатил, а они вот... – и Дэвид показал мне какую-то бумагу. – Счет за пользование телевизором. Кто-то из ваших смотрел порноканал. А за него нужно

платить отдельно, И дорого. Сколько? Почти столько, как за проживание. Вот здесь, смотри.

– Никак не может быть. Получается, человек не спал, каждую ночь по шесть часов. Это после полного дня на ногах.

– Да, – уныло согласился Дэвид. – Они сами удивлялись. Но у них счетчики.

– Давай посмотрим, кто это.

– Я уже выяснил, – сказал Дэвид. – Это из ваших чиновников.

– Боже мой, как я их ненавижу... – Высказалась наша переводчица, она принимала участие в разговоре.

Переводчица была не простая – человек замечательного образования, умница. Дэвид прошелся по нашим лицам задумчивым взглядом. В голове у него что-то происходило. – Я думаю, такого быть не может. Человек должен когда-то спать.

– Может. – Злилась переводчица. – Теперь я понимаю, почему он постоянно дрыхнет в автобусе. Я думала, с похмелья...

– Вы лучше своих знаете. – Тактично сказал Дэвид. – Но как рассчитаться...

Вопрос уместный. Делегация собралась, автобус подъехал, пора было двигаться. Дэвид печально вздохнул и отправился к администратору. Вернулся счастливый. – Они считают, наверно, ошибка. Человек не может такое выдержать. Они сейчас проверят телевизор.

– А что с нами? – Лучше было поторопиться

– Сказали, можно ехать. Я им объяснил, новая страна, дружественная Америке. Они сказали, пусть едут...

Мы подхватили сумки и заторопились к выходу.

Я вспомнил, потому что в тот раз мы с Борей встретились в Америке. Так счастливо совпало. И провели вместе чудесный вечер.

* * *

Его последний приезд собрал массу народа. Даже удивительно для нашего времени. Целый клуб друзей. Боря привез свои инсталляции. Игрушечные мизансценки, имеющие идейную, сюжетную подоплеку. Скажу только, это было необычно. Началось с таможни. Боря предъявил для осмотра чемодан, содержащий культурные ценности. Он внес их в декларацию. Таможенник открыл чемодан, порылся в ящичках и вытащил оттуда пластмассовую куклу. Они с Борей поглядели друг на друга.

– Это что? – Спросил таможенник.

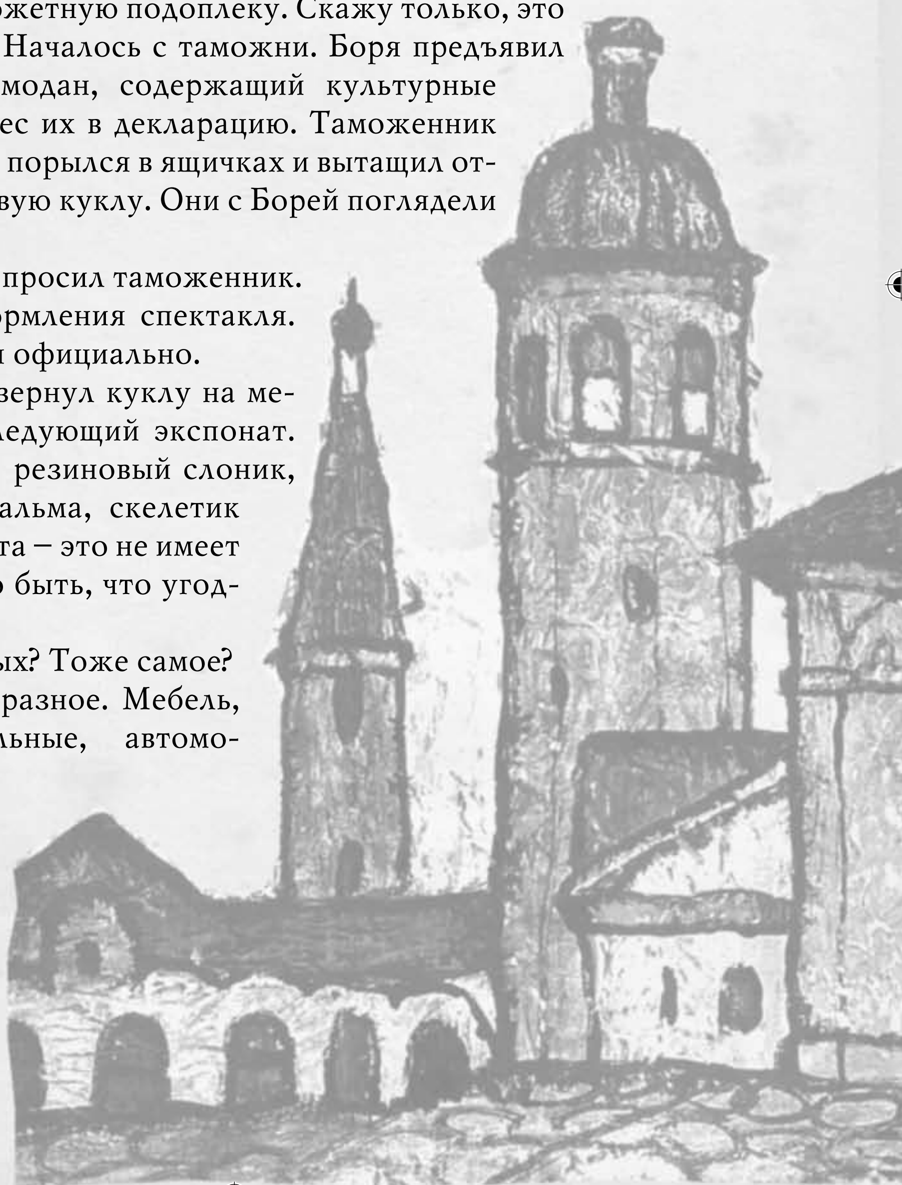
– Деталь оформления спектакля. – Боря держался официально.

Таможенник вернул куклу на место и открыл следующий экспонат. – Что там было: резиновый слоник, целлулоидная пальма, скелетик от воблы, конфета – это не имеет значения. Могло быть, что угодно...

– А в остальных? Тоже самое?

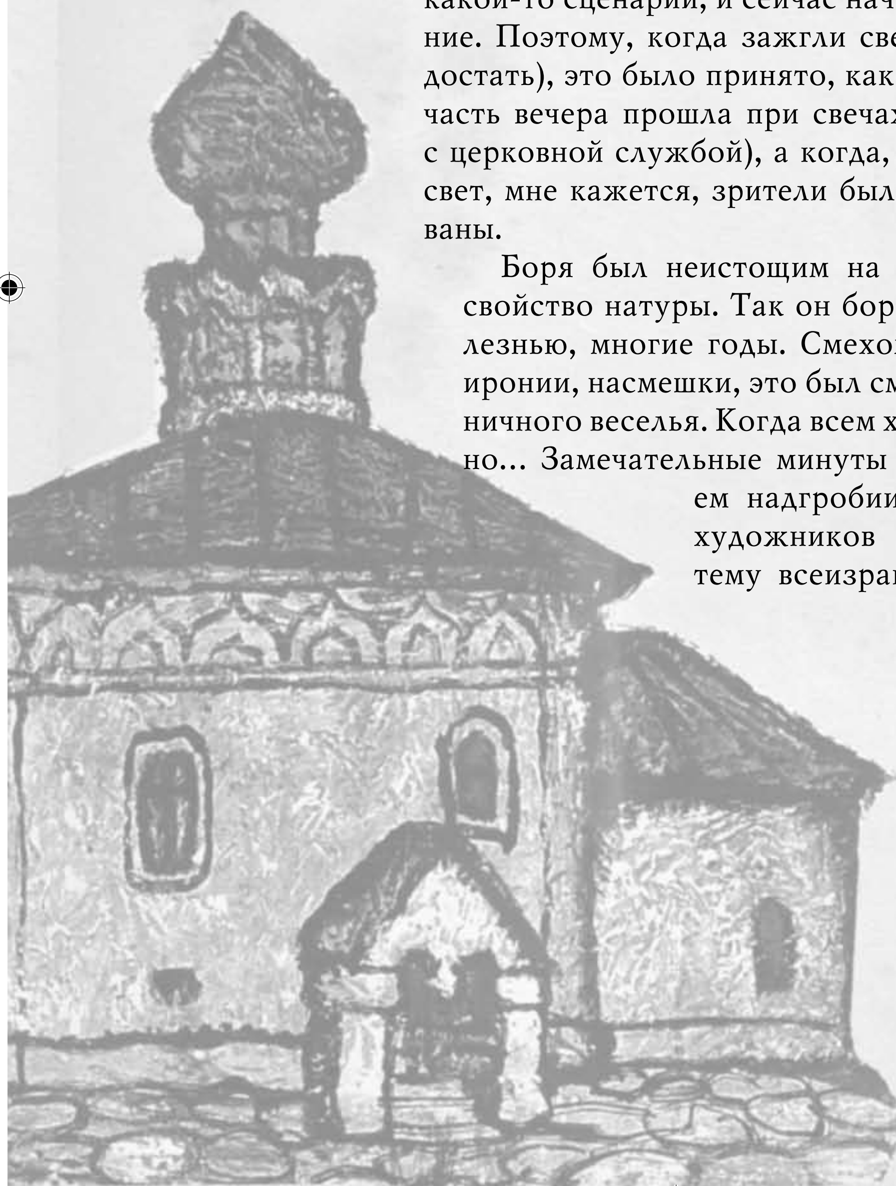
– Нет. Везде разное. Мебель, посуда... кукольные, автомобильчики...

– Закрывайте и проходите. – Сухо сказал таможенник.



Выставка была в Доме Архитектора, можно сказать родном для Бори помещении. Народ сошелся. Пора было открывать. И в это время погас свет. – Что я могу? – Директор, старый Борин приятель только руками развел. Он и сам переживал. – Это нужно, чтобы именно сейчас. Электрик уволился, а если бы и нет нет, все равно, в запое... Где искать, на это время уйдет.

Так и было. Зима, шесть часов вечера, густой полумрак и гудящая во тьме толпа. Не то, что экспонатов, друг друга не видно. Боря приехал с женой, был занят праздничным общением, нужно было спасать положение. Но удивительно. Народ нисколько не волновался. Считали, так и должно быть, Боря приготовил какой-то сценарий, и сейчас начнется представление. Поэтому, когда зажгли свечи (я постарался достать), это было принято, как должное. Первая часть вечера прошла при свечах (кто-то сравнил с церковной службой), а когда, наконец, зажегся свет, мне кажется, зрители были даже разочарованы.



Боря был неистощим на выдумки. Таково свойство натуры. Так он боролся со своей болезнью, многие годы. Смехом. В нем не было иронии, насмешки, это был смех общего праздничного веселья. Когда всем хорошо и прекрасно... Замечательные минуты и часы... На своем надгробии (Боря подбивал художников устроить на эту тему всеизраильский конкурс) он изобразил цветы и бабочек. Среди львов Иерусалима (было и такое начинание) Борин оказался самым жизнерадостным.

Хохмы Бориса Лекаря

Когда-то совсем давно Катя Рапай попросила меня о помощи: трое французов, приехали к ним в гости (по тогдашним меркам великое событие) и полностью истощили её силы и возможности. Французы жили в гостинице, но от этого было не намного легче. Я мобилизовал Вовку Смирнова на «Жигулях», что было кстати ввиду весеннего дождика, и показывал всё, что считал интересным: Подол, киевские дворы, популярные закусочные. Пиком маршрута стала мастерская Лекаря – под девизом: фран-

цузы посещают мансарды русских художников. В доме на Кудрявской одиннадцатый технический этаж был отдан под мастерские, внизу – удобный гастроном. Три бутылки красного вина, колбаса, хлеб и сыр, что еще нужно для гармонии. Однако, Борис пить от-



Панорама Киева

казался, ссылаясь на необходимость работать, неожиданно прикинулись непьющими французы, как водитель выпал из процесса Володя. Из Кати – какая собутыльница, пришлось мне взять всё на себя… Когда мы вышли из мастерской, был уже вечер, все семеро втиснулись в машину, и тут выяснилось, что гости едут в мастерскую к Оле Рапай, есть борщ. С Олей я тогда знаком не был, каза-

лось, хороший повод распрощаться с компанией, но тут Лекаря осенило:

– Давай, Петька, ты будешь француз, племянник Ле Корбюзье!

Алкоголь сделал свое, не успел я опомниться, как оказался на Перспективной за Олиным столом в качестве французского племянника. Понемногу начал трезветь. И тут понял, каково быть самозванцем, пусть даже не Лжедмитрием. Кто не знает, скажу, – тяжело. Хоть на столе дымилась кастрюля с зелёным борщом, стояла бутылка, помнится, «Кагора», все были довольны, а Лекарь вдвойне.



Дон-Кихот. 70-е годы. Лату

– Боря, – укоряла озабоченная хозяйка, – ты бы хоть предупредил, неудобно: такой гость, а у меня только борщ!

– Олечка, – успокаивал Боря, – не переживай, у него, наверное, язва, видишь, сидит и ничего не жрёт.

– Боря, как тебе не стыдно, тише!

– Так он ни черта по-русски не понимает! От этих французов одни капризы.

Лекарь озабоченно заглядывал мне в лицо. – Сидит с кислым видом. Месье называется.

Отступать было поздно, я старался. Вправду стало кисло, когда из соседней мастерской заглянул скульптор Боря Довгань.

– Заходи, заходи! – обрадовался Лекарь. – У Олечки гости из Парижа, этот – никогда не догадаешься! – племянник Ле Корбюзье!

– Очень приятно. – Довгань подтянулся. – Довгань, скульптор…

– Заслуженный художник УССР, – вставил Лекарь.

– Перестань, какие звания в сравнении с мировыми именами! Ну, сбегаю за бутылочкой.

Довгань мог меня опознать. Пару раз я сталкивался с ним, когда делал интерьер Вале Галочкину, его соседу по лестничной площадке. Но, к счастью, постановка сбила его с толку. Я вертелся, стараясь не попадать в кадр, изображал полное непонимание. Оля старалась накормить.

Вместе с Довганём появился Флор Юрьев с «Зубровкой», и Лекарь пересказал мою биографию с самого начала. Что моя настоящая фамилия не Корбюзье, а Жаннере, что в дядином ателье в Париже на улице Севр я бываю редко, чтобы не мешать дяде трудиться (тот факт, что «дядя» к тому времени уже давно почил, на эпизоды моей парижской жизни не повлиял).

– Жаннере, – окликал Боря, обращаясь ко мне, как к глухому. Я кивал. Сложно было изображать непонимание, пока шел перевод. Я сидел, взмокший и несчастный, а развеселый Лекарь стыдил Юрьева:

– Сидишь тут, в провинции. А там Париж. – Боря мечтательно возвышал голос. – Париж…

Я изображал интерес к слову «Париж».

– Он завтра уезжает, – теребил Боря Юрьева. – Квартира в Париже фактически пустая. Ты спроси, он тебе адрес оставит.

– Что нам Париж, – уныло отзывался Юрьев.

– Нет, ты обязательно спроси. Такой шанс. Оля, переведи ему насчет квартиры.

Все это происходило как-то всерьез. Я страдал. Французский я кое-как помнил, но пользоваться не пытался, черт его знает, как у них с прононсом. Встал, жестом показал, что хочу курить, и отправился в темный коридор, хлопая себя по карманам. Наши почтительно замолчали. – Француз. За столом не курит, в коридор попросился. Там же темно, а он все равно. Дядюшкино воспитание. Нам бы так.

Дверь специально приоткрыли для света, чтобы всё, как во Франции. Черт его знает, как себя вести. Я томился. Тут вышел Лекарь. Я был благодарен ему за остатки гуманизма. Боря взялся

объяснить мой неожиданный уход. Но повиниться перед Олей отказался категорически.

– Даже не думай. Ты не представляешь, как она оскорбится. Сам видел, как она тебя приняла. Старалась, борщ варила. И вдруг откроется… Знаешь, я скажу, что тебе нужно срочно в посольство, отчет писать. Хочешь, я Олю предупрежу, что завтра ты опять придешь? Борщ доедать. Вообще, я бы на твоем месте перешел на нелегальное положение, уехал из города года на три...

Да, довольно долгое время у меня было неспокойно на душе, пока, наконец, на какой-то выставке, Миша Щиголь представил меня Ольге Рапай под настоящим именем, и я покаялся за тот розыгрыш.

О Киеве и о себе

Пашеко, расскажи свою историю...
Рукопись, найденная в Сарагосе

Когда Советский Союз уже трещал и шатался, на Союз Дизайнеров посыпались всякие приветствия и приглашения от разных стран и народов. Шли они в Москву, где их внимательно отбирали. Которые, чтобы ехать в гости, оставляли себе, а те, чтобы сначала принять гостей здесь – сбрасывали нам, провинциалам. Так я побывал в Америке, но вначале общался с американцами в Артеке. Туда я их сопровождал от имени Украинского отделения Союза. Американцы от Артека пришли в восторг, время года было подходящее, и сам лагерь еще не настигли социальные перемены.

– Кто здесь отдыхает? – Спросили пораженные американцы.

– Лучшие из лучших, – объяснял я. – Законченные отличники учебы.

– А ты раньше был здесь?

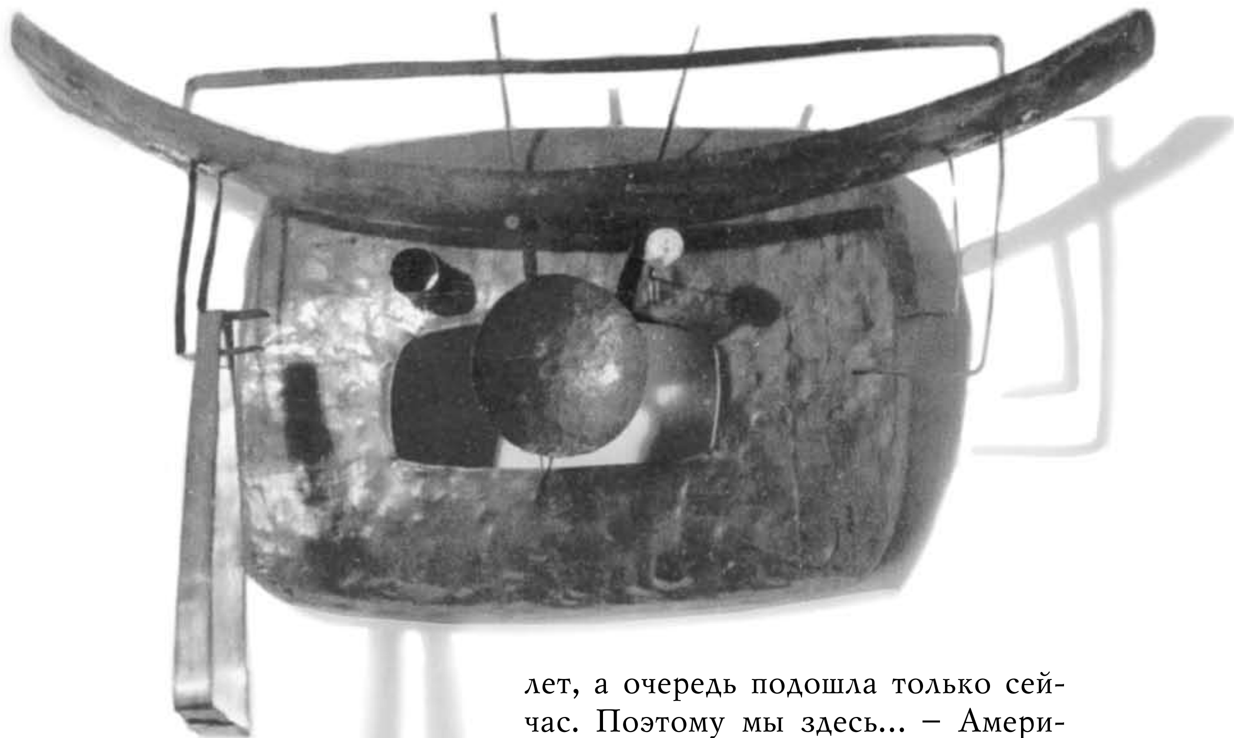
– Не был…

– Ты, наверно, плохо учился…

– Круглый отличник…

– Тогда почему?...

– Отличников было много. Длинная очередь. Я занял в десять



Санчо Панса. 70-е годы
Латунь

лет, а очередь подошла только сейчас. Поэтому мы здесь... – Американцы задумались и больше не расспрашивали. По-моему, правильное мнение у них так и не сложилось. В девяностом году мне было сорок четыре года.

За пять лет до меня, третьего июля сорок первого года появилась на свет моя сестра. Как раз началась война, время было предельно нервное, киевские евреи решали очень важный для себя вопрос – уезжать немедленно, выждать с верой в нашу армию или оставаться в любом случае. Ответом на вопрос отчасти служил мой дедушка Петр Львович Шлёнский. Он был известный челюстно-лицевой хирург, проходил специализацию в Германии у знаменитого профессора Мамлока. Как человек, имеющий дело с челюстями, он занимался также стоматологией, вел отдельный прием дома с раннего утра, еще до госпиталя. Как-то нас с мамой (если чуть отойти от темы) остановила на улице старушка, давняя пациентка дедушки. И показала свой зуб. Его легко можно было увидеть, потому что это был единственный зуб. Благодаря дедушкиной пломбе, он выдержал все испытания и устоял буквально как утес среди бурь. Зубы разваливались, а пломбы стояли. Понятно, что значил авторитет дедушки в той жизни. Люди глядели на наш балкон и находили ответ на свой во-

прос.

– Вчера и сегодня он стоял на балконе и курил...

– И что это значит?

– Это значит, что он никуда не торопится. Киев не сдадут. Он работает в госпитале, там знают.

Такая была легенда. Мама эвакуировалась вместе с дедушкиным госпиталем, но во второй раз. Мама эвакуировалась дважды. Первый раз она эвакуировалась одна с моей полумесячной сестрой. Подробностей (почему так произошло) я не знаю. Скорее всего дедушка довез ее до вокзала, погрузил в вагон, решил, что дело сделано и заторопился на работу. Мама лежала в вагоне на третьей полке, прижимая к груди младенца, и с ужасом ждала, что теперь будет (вряд ли что-то хорошее). На свое счастье, она смотрела в окно. По перрону шел вратарь киевского «Динамо» Антон Идзковский. Он маму заметил, стал против окна, удивился и спросил, что мама тут делает. Нужно сказать, мама была красавица, она хотела стать профессиональной певицей (у нее было драматическое сопрано), училась в музыкальном училище. До этого она закончила факультет электросварки Киевского политехнического института и занималась всеми видами спорта, какие попадались на глаза. Мама была разносторонний человек. Антон ужаснулся вместе с мамой, немедленно высадил ее из поезда и отвез домой. Там мама провела неделю, блаженствуя на свежих накрахмаленных простынях,



Людовик XIV. 70-е годы. Латунь

именно этим время запомнилось – состоянием счастья и покоя среди надвигающейся беды. Потом они эвакуировались все вместе с госпиталем. Уезжали легкомысленно, как предполагалось, на две недели, с одним саквояжем. Русская ветвь семьи – со стороны маминой родной сестры (семья Терновских) уговаривали дедушку остаться. Немцы таких, как он, уважают, убеждали Терновские. Они что, не понимают, с кем имеют дело… Не может быть…

Но дедушка уехал. Он умер в Челябинске от брюшного тифа в сорок третьем году. Тогда же умерла и бабушка. В молодости – Эсфирь Борисовна Круглая. Это была известная киевская красавица, она даже собрала театральную труппу. Вопрос стоял об организации театра. Но дедушка карьеру решительно поломал, актриса в доме ему была не нужна. Бабушка с утра затягивала корсет, надевала платье, садилась за рояль и музицировала. Кроме того, она вырастила двух дочерей: Аду и Женю (мою маму). Дедушка и бабушка умерли до моего рождения, передаю мамин рассказ. Квартира у них была большая, напротив кинотеатра Киев. Оставалась домработница Фрося, которая обещала, что всё сбережет… Фрося умерла от голода, дом уцелел, а в квартире не осталось ровно ничего. Дворники так и рассказали маме, когда она пришла узнать. Они же, нужно полагать, и растащили.

После окончания института я год служил в армии в городе Острогожске под Воронежем. У меня была четкая задача, возвести памятник воинам-автомобилистам. Я его возвел, демобилизовался и пришел работать в институт градостроительства (НИИ Град). Я был передовик. На очень хорошем счету. У меня были грамоты за работу, я был организатор институтских вечеров и капустников. Меня знали. И я решил поехать в Польшу. Не с туристической группой (это было не для меня), а самолично, по приглашению. Жена моя туда ездила. Она со своей подругой когда-то работали машинистками в Телерадиокомитете. Там были красивые девочки, и все почему-то рвались уехать. Первая волна эмиграции пришлась на шведов, которые устанавливали на этом радио какое-то телефонное оборудование. Следующая смена тоже не задержалась. А третью представляли моя будущая жена с подругой. Подруга вышла замуж за поляка, а я нарушил традицию, удержал жену в Киеве. Но к подруге она выезжала, привозила оттуда шерсть, сидела,

вязала, а когда шерсть заканчивалась, ехала за новой. Выпускали ее легко. И я решил съездить. Муж подруги Вацек прислал мне приглашение. С этого началась странная пора моей жизни под названием: хочу поехать в Польшу.

Документы я собирал два года. Справки были разные, требовали разных подписей. Особенно трудно было с характеристиками, собрать три автографа сразу (директора, парторга и профорга) никак не удавалось. Пока подписывал один, другого переизбирали, и нужно было начинать все сначала. Хорошо, что никто не умер, я бы, наверно, запомнил. Для того, чтобы запустить механизм сбора, нужно было подать заявление на имя директора. Прошу выдать мне характеристику. Директор должен был подумать и разрешить. Я долго не понимал (и сейчас не понимаю), почему нельзя выдать характеристику просто так. Я ведь не прошу хорошую характеристику, дайте, какую есть. Дайте плохую. Но плохую дать они не могли, а хорошую им не позволял Заратустра. По этому поводу мы вступили в переписку через отдел кадров (таковы были правила).

Завкадрами была женщина средних лет по имени Полина (Полина Сергеевна). Полная. Миловидная. С накладной прической. Вообще, во всех местах, где мне приходилось сталкиваться с кадровым и подобными вопросами (получение справок и прочее), сидели женщины по имени Полина. Мне кажется, это имя давали при вступлении в должность. Полина вела управление процессом, так сказать, «готовила вопрос». И сразу задумалась, как будто столкнулась с ним впервые. Кто должен писать характеристику? Трудность была налицо.

– Знаешь, что, – осенило Полину, – напиши сам (она говорила мне ты).

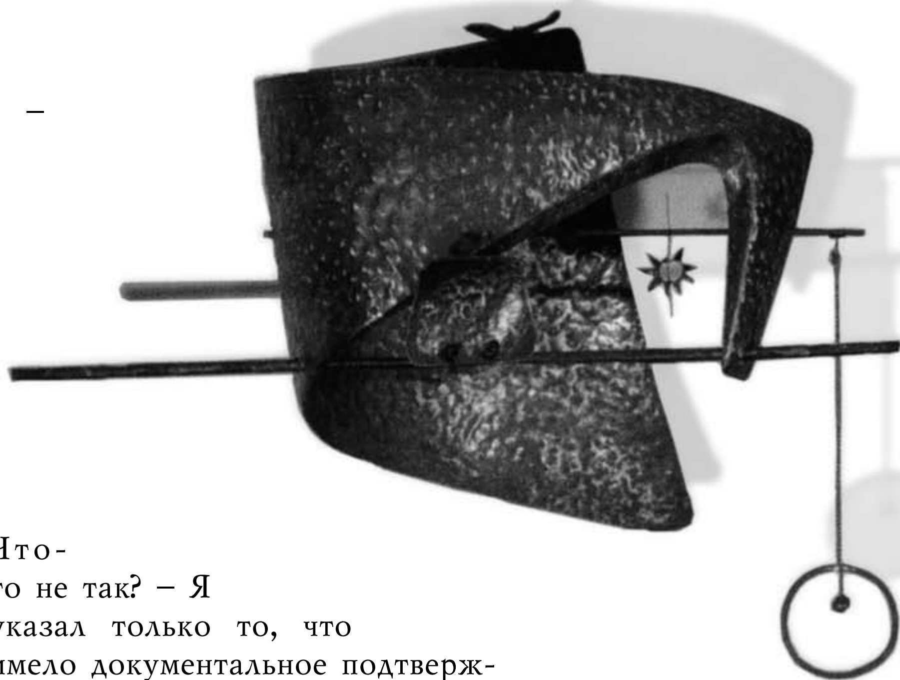
– Как сам?

– Именно сам. Ты же себя знаешь...

Действительно, я себя знал. Ясно, я проявил достойную скромность, но скрывать трудовые достижения (а они были) тоже не хотелось. Характеристика должна была сработать в мою пользу. Полина просмотрела внимательно, по ходу чтения ее лицо принимало ироническое выражение.

– Я думала, ты скромнее. За такую характеристику нужно давать медаль.

–



Пират Билли Бонс. 70-е годы. Медь

Что-то не так? – Я указал только то, что имело документальное подтверждение: в благодарностях, дипломах…

– Пусть даже так, – назидательно заметила Полина. – Просто нужно быть скромнее…

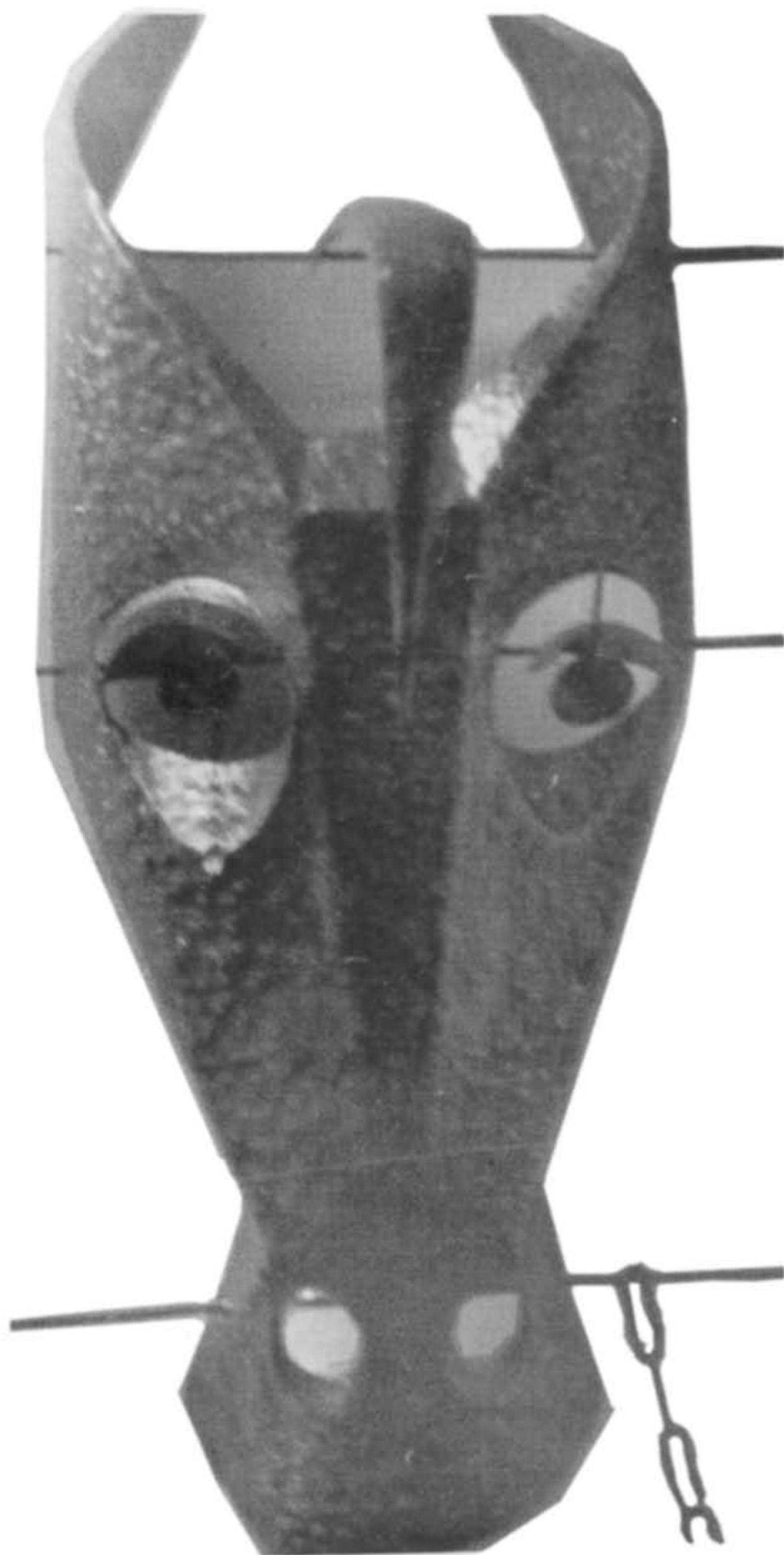
Очевидно, я демонстрировал не лучшие качества, а худшие. Но оспаривать не хотелось, впереди предстоял долгий путь. В конце концов, я собрал толстый том всяких справок и характеристик и понес в ОВИР (отдел виз и регистраций) – организацию, которую многие помнят по обстоятельствам более волнующим, чем мои. Когда я только пришел узнавать, как и что, в ОВИРе было сравнительно спокойно, но теперь здесь бурлила жизнь. За время, пока я собирал справки, началась еврейская эмиграция. Но мою папку приняли сравнительно быстро, и я запомнил чувство облегчения – все, что нужно, сделано, собрано, теперь остается ждать. И ответ пришел на открытке. Мое дело решилось. Обрадованный, я позвонил на работу жене (в редакцию «Театрального журнала»).

– В какую комнату? – Спросила жена.

– Откуда я помню, в какую…

– А ты погляди. Там должно быть написано…

Я посмотрел. – В тринадцатую…



Росинант. 70-е годы. Медь

– Можешь не ходить. Тебе отказано….

Но я пошел. Получил у молоденькой женщины лейтенанта бумажку с отказом и записался на прием к Сифорову. Сифоров был легендарной фигурой для киевских евреев, столько проклятий было послано на его голову. Им пугали детей. В день приема коридор был заполнен отказниками по эмиграции в Израиль. За отказом приходили через определенный срок и продолжали ходить регулярно (многие годами), подтверждая собственное существование и несгибаемую решимость. Надежды на положительное решение вопроса вот так просто – пришел и разрешили, – почти не было. Везение считалось счастьем и не планировалось. Вопрос: – Вы были у Сифорова? – звучал предельно драматически. Многие сидели без работы.

На этом фоне я со своей поездкой в Польшу был постыдно белой вороной. Я выглядел легкомысленно. Намерения не афишировал. Отлучался несколько раз, очередь шла медленно. Но где-то в половине шестого торжественно объявили. Сифоров примет всех. Люди заволновались. Действительно впустили сразу, расселись за большим столом. Сифоров – в центре, коренастый, среднего роста с красивым зачесом, обезличенным чиновным лицом. Разговор пошел по кругу, взволнованно и быстро, девушка лейтенант едва успевала подавать бумаги.

– Фамилия?... Так. Вам отказано….

В ответ крик. – Вы не имеете права. Я буду жаловаться…

– Жалуйтесь. Следующий. Фамилия?... Так. Вам отказано… – Там снова крик…– Следующий…

Люди выбывали с негодующими возгласами, один за другим. Сифоров сидел бесстрастный и скорее добродушный, чем наоборот.

– А у вас что?

Это мне. Сифоров сосредоточился. В Польшу! Что-то не совсем обычное, по крайней мере, мой случай оказался в тот день единственным…

– Так. Збышек… Алоиз… Так… Вам отказано, Петр Федорович.

– А как же так? На каком основании?

Сифоров насупился, но вид сохранил приятный. Как-никак мы оба и девушка лейтенант были здесь полноценными гражданами великой страны.

– Недостаточная степень знакомства. – Объяснил Сифоров. – Кто вы этому… как его…

– Збышеку. Хороший знакомый, приятель… Там же написано… муж подруги моей жены…

– Вот, видите. Что это такое, знакомый… приятель… Это не близкое знакомство, это так, пива попить… А тут… Сами понимаете, Петр Федорович. Поэтому вам отказано.

– А какое близкое?

– Ну, ведь вы понимаете. Если бы вы, например, воевали вместе. Прошли фронт, в госпитале лежали. Боевая дружба. Вот это да. А то какой-то знакомый…

– Но я по возрасту не мог воевать. Вы же видели мою анкету.

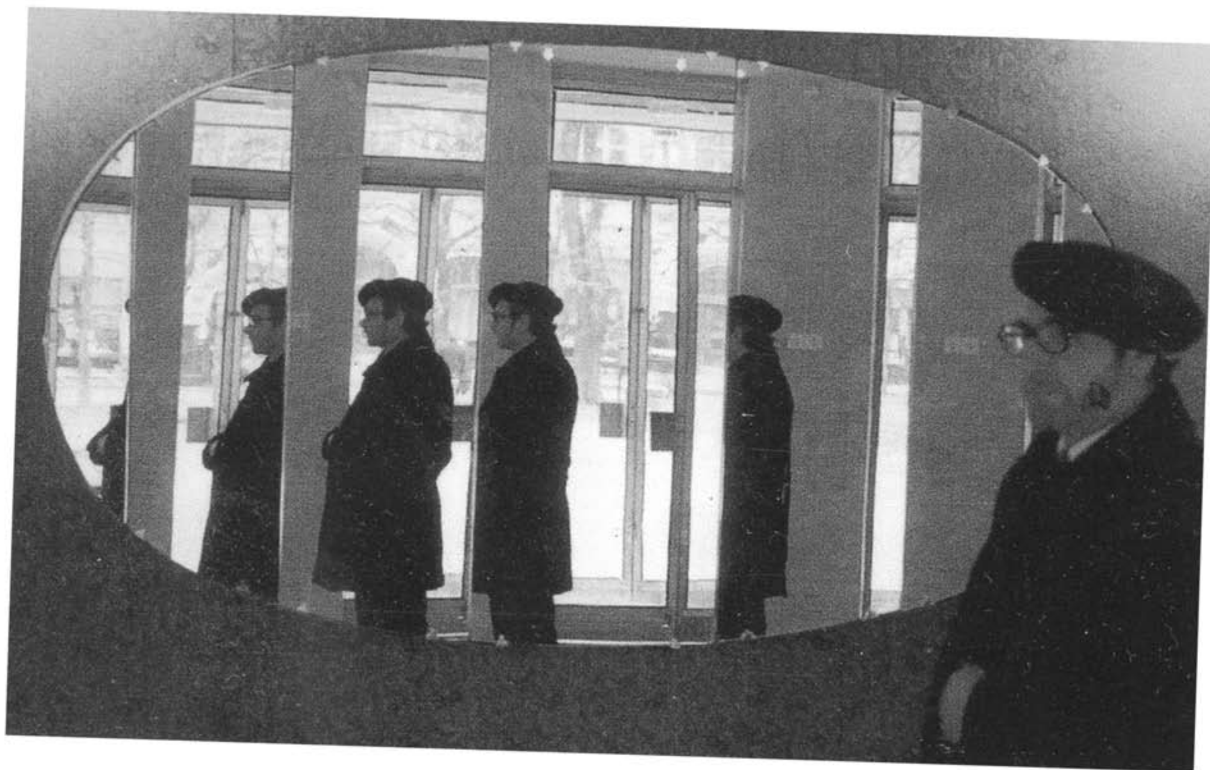
– Да, действительно, Петр Федорович, воевать вы не могли. Но вы могли воспитываться вместе. В семье этого Збышека. Вас усыновили. А теперь вы нашли друг друга.

– Я в своей семье воспитывался. Я не сирота.

– Вот видите, вы не сирота, – огорчился Сифоров.

– Так что мне теперь делать?

Сифоров совсем затуманился. – Послушайте, Петр Федорович. А почему вы не хотите его к нам пригласить? Здесь бы и повидались.



– Он у нас уже был. И я думаю, приглашение оформить тоже будет непросто.

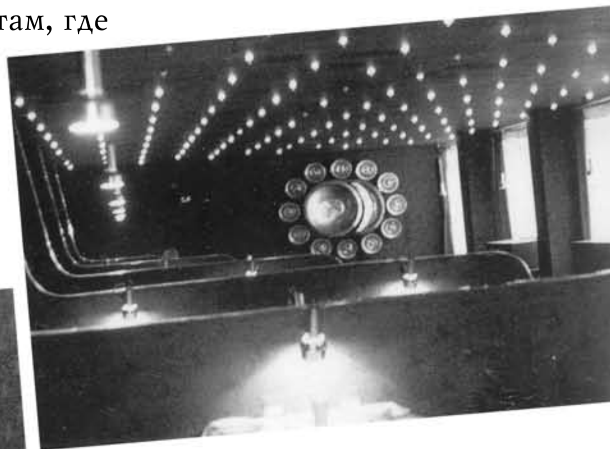
Сифоров сочувственно кивнул. – Да, вы абсолютно правы. Непросто. Знаете что, Петр Федорович. Сейчас возьмите бумагу и напишите заявление. Можно на мое имя. Опишите еще раз, подробно. Еще раз детально все изложите.

Лейтенант дала мне бумагу, и все оставшееся время я трудился под выкрики. – Я протестую… Я буду жаловаться…

Потом я получил открытку. – Какая комната? – Спросила жена. – Я такой не знаю. А чернилом каким?... Зеленым?... Были еще приметы. В конце жена сказала уверенно. – Можешь не ходить. Это отказ.

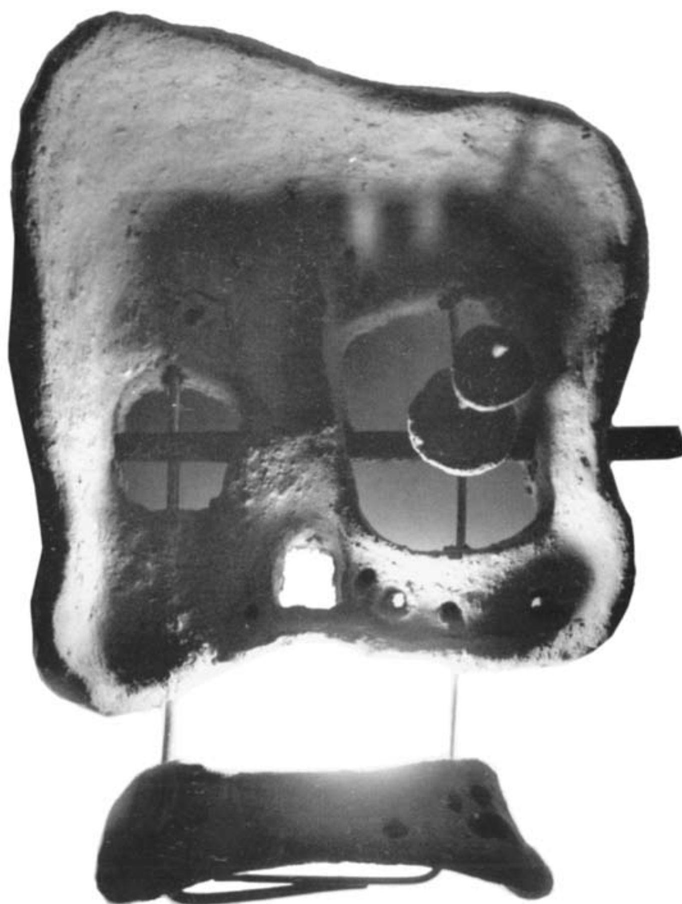
Но я пошел и уже в другой комнате действительно получил отказ. Из рук той же женщины-лейтенанта за подписью того же Сифорова. Дело свое я забрал, и долгие годы никак не решался выбросить. Что ни говори, это был большой труд и масса впечатлений. Полина, Сифоров, взволнованные эмигранты-отказники, и я сам молодой романтик, живущий несбыточной мечтой, посетить Польшу.

Еще была похожая история, мы выиграли какой-то архитектурный конкурс. Кажется, международный. В условия конкурса входила заграничная поездка. Мы стали готовиться. Два райкома взялись помогать: Шевченковский (там, где сейчас Американское посольство) и Печерский. Сначала страны и города для поездки не указывали, в условиях конкурса так и значилось: Лондон, Париж, чуть ли не по нашему собственному выбору. Потом объявили,





Кафе «Звездное» («Зоряне») 70-е годы



Бедный Йорик. 70-е годы. Латунь

только в социалистические страны, включая Югославию. Была такая формула: *включая Югославию*, не знали, в какой лагерь ее затолкать. Потом и Югославия отпала. А потом стало неинтересно, и поехали секретари райкома комсомола, а куда, не знаю.

Потому в Артеке я оказался в конце длинной очереди. Видно, так, по жизни мне было назначено, выстаивать и дожидаться Единственно, где обходилось без очереди и удачно, в магазине «Подписных изданий» на Бульваре Шевченко. И в магазине «Фарфорфаянс» на Крещатике. Там мы заказали чайный сервиз. Все, кто хотел нормально жить, заказывали там сервизы. Выбор был не-

большой. Красный в белую горошину. Но все равно, это было удовольствие. Оставляли открытку, и спустя месяц приходили и забирали. Это не мои впечатления, родительские. Но я их помню.

Вкус к хорошим вещам мне привил отец. Он с матерью (то есть моей бабушкой) и сестрой были харбинцами. Не так много людей помнят, что это было такое. А тогда эти слова звучали очень сильно. Клеймо белогвардейца и японского шпиона. Бабушку посадили, тетю Лиду присадили, то есть посадили, но быстро выпустили. У папы стоял готовый чемоданчик. Арестовывали ночью, и он год не ложился, слушал. Как ходит трамвай, потом прекращает ходить, потом снова начинает. Гипертония отца именно оттуда. Уже в Киеве папа заканчивал ГВФ (Институт инженеров гражданского воздушного флота), потом тяжело болел. Завершал трудовую деятельность главным инженером Дарницкой ТЭЦ. По должности ему был положен телефон. Телефон и телевизор в послевоенном быту были редкостью. Телефон стоял в коридоре, около наших дверей, за вечер к нам наведывались человек десять. С просьбой позвонить. Многие оставались пить чай. Такое было время, люди держались вместе. Коммуналки никого не смущали, это была норма, все так жили.

Школу отец заканчивал в Харбине с золотой медалью. Там же он учился в коммерческом училище и работал приказчиком в лавке тканей. Английских! Это был наивысший класс. В Киеве отец сохранил шик. После войны Марк Моисеевич Зарицкий (знаменитость портновского искусства!) сшил ему два костюма. Голубой и черный. Помню ратиновое пальто. Все это я потом донашивал по мере подрастания. Папины шляпы, папины галстуки, еще японские. Этой бациллой я был заражен с детства. Я помню запах всех новых вещей (тем более их было немного). Я помню первый пуловер, привезенный из Москвы. В нем было нужно срочно появиться. Кардиган! Его нужно было срочно взять на улицу. Вечера были прохладные, Кардиган полагалось набросить на спину, повязать рукава вокруг шеи. Это был класс. А в витрине магазина «Обувь» на площади Толстого стояли индийские туфли с длинными носами. Туфли невероятной красоты, начиная с тридцать девятого размера. Стоили триста тридцать три рубля. Я даже их примерил. У меня был тридцать шестой…

Нужно представлять Киев начала пятидесятых годов. Улицу Горького, где родители получили большую комнату в коммуналке (Горького 23, дом архитектора Николаева). Пространство от стадиона (тогда: имени Н.С.Хрущева) до вокзала представляло собой сплошные руины вперемешку с островками послевоенного строительства и уцелевшими домами, которые спешно приводили в порядок усилиями пленных немцев. Вся эта огромная территория развалин и проходных дворов не имела внутренних границ и заполнялась массой аборигенов от пятилетних пацанов, каким я вступил в эту жизнь, до двадцатилетних переростков, которым нечем было заняться. Все время проходило во дворе, дома было неинтересно. В развалинах находилось множество волнующих вещей, немецкие ножи, штыки, фонарики, дома в глубокой тайне от взрослых хранились целые арсеналы. Это было наше «место для жизни», здесь все были свои в отличие от такого же сравнительно враждебного сообщества с другой стороны улицы Горького. С теми нужно было договариваться. До Крещатика мы вовсе не дотягивали, там было что-то, такое же «свое», новости доходили очень издалека. С общением не было проблем. Как-то я, неосмотрительно выскочив на улицу, едва не попал под грузовик, шофер затащил меня в кабину и, крепко прихватив рукой (другой он крутил баранку), зловеще спросил: – В милицию тебя или поджопника – выбирай?.. Он сам еще не решил, еще мрачно наслаждался, но тут на улицу выскочила наша компания и с гиканьем помчалась за машиной. Назревали большие неприятности. Шофер открыл дверцу и выкинул меня на улицу. Поджопник я успел получить, но явно не в полную силу.

За пределы собственного мира мы попадали со взрослыми. Одно из интеллигентских пристаниц – «Дом Ученых», по адресу Владамирская, 45. Сестра занималась в балетном кружке. Руководила кружком Эстер Владимировна Могилевская – молоденькая девчонка, артистка кордебалета. Ее звали Эстерка. И меня туда привели. По этому поводу могу сказать не без грусти: я тоже начинал с балета, но так и не освоил пируэта... Но кое-что успел. Танцевал лезгинку на агитпунктах.

Аккомпаниатор молотил зверски. Титият папам пам, тириятам. Тирият –пам-пам-тири-я... И мы выскакивали на сцену, три

шплинта лет по десять. Женька Козьменко рыжий, белокожий, веснущатый, Алик Холоденко, потом еврейский физик, живет теперь в Канаде, и я. В черкесках с газырями, с кинжалами на боку. Выделывали коленца под аплодисменты публики. Потом получали апельсины, мандарины… еще что-то. Успех был полный.

Дети держались вместе, но и взрослые жили примерно также. Они были интересны – киевляне, пережившие войну, вернувшиеся с фронта и эвакуации и враставшие во все еще непривычную мирную жизнь. Мне хорошо вспоминается. Тульчинский, он жил в нашем доме на первом этаже. Коллекционер, сумел многое сохранить при немцах. Он мне показывал свои сокровища. Вкус в детстве прививается на всю жизнь, потом уже не ошибешься. Тульчинскому я обязан. Угол рядом снимала Елена Камбурова. Днем работала кондуктором, а вечером играла на гитаре. Соседка говорила про нее язвительно и очень по-киевски: артистка погорелого театра. И крупно ошиблась в отношении Камбуровой и «Клуба Трамвайщиков», где она начинала. Камбурова стала известнейшим музыкальным интерпретатором и исполнительницей текстов русской поэзии, а здание клуба до сих пор стоит.

Различия тогда были сглажены, временем или местом, трудно сказать. Это был некий общий киевский тип – от люмпена до профессора, подмеченный когда-то Куприным, со своим своеобразным лоском и образной речью. В ходу были блатные выражения, но матерщины было на удивление мало, дворовая и школьная среда ее не поощряла. В ходу были адаптированные выражения с идиша.

Полностью бессмысленное. А хундэр мауэр, а хундер хох. (Дословно: собачий, стена, собачий, наверх). Как прикажете понимать? Произнесите эти слова громко, вложив в них изрядную долю презрения, и сопровождая жестом. Хм…. Подумаешь. Да кто ты такой?

Или. Не берите меня на бэнэ мунэс. Это было распространено, как семечки. То есть, не берите на понт.

Или совсем простое. А гицен паровоз. Что значит, пар из паровоза. В том смысле – весь пар в свисток. Можно подумать, агицен паровоз. Словесные изъявления чувств сопровождались жестикуляцией. А мат был как-то необязателен. Заборы стояли

сравнительно чистые, до сексуальной травмы поколений было еще далеко. Хотя купринская Яма находилась сравнительно недалеко, район Тверской-Ямской от нас просматривался. Школьные годы добавили нам знаний. Но мир оставался удивительно цельным и понятным. Нам не в чем было его упрекнуть, даже в отсутствии школьного предмета сексуального воспитания. Мы провожали наших девочек домой и взрослели вполне самостоятельно.

Весенний киевский воздух буквально вытягивал из квартиры на улицу. Нужно было обязательно выйти без шапки. Родители, естественно, были против. Но коки должны были быть видны. Белые шелковые шарфы, красные шарфы Я помню весенний сырой запах талого снега и бегущих ручьев. Сейчас его уже нет. Или обоняние не то.

Если смотреть от нашего дома вдоль улицы Горького, горизонт очень высок. Видна остается только зеленая полоса, замыкающая улицу далеко впереди. Вы начинаете движение и погружаетесь в это пространство. Оно втягивает вас в себя и постепенно превращается в зеленый массив сквера Шевченко, прошлого Николаевского сада. Если смотреть долго, начинаешь ощущать действие времени. Иллюзий не было никаких. Но было ощущение правильности жизни. Оно сохранялось долго.

Летом городская интеллигенция осваивала дачную и сельскую местность. Выезжали семьями, обменивались впечатлениями, и так открывали новые месте. Дачники. Ворзель. Летки. Остер. Там была своя жизнь, здесь своя. Неспешно они проникали друг в друга. Потом вектор изменился. Деревня стала побеждать. Город напрягся. Но так было предусмотрено процессом урбанизации, процесс был трудным, но естественным. Киев продолжал существовать.

Покажите того киевлянина, кто бы не признался в любви к тому городу. А что теперь? Тяжелый случай. На Киев пошли регионы. Его завоевали. Луцк. Краматорск… Нас не спрашивают, мы побежденные. Новое жизненное пространство. Новое время. Весенний воздух потерял вкус. Левый берег маКИЕВка, правый – енаКИЕВка. Можно наоборот, ничего не изменится.



Слева направо. С.Параджанов, А.Павлов, С.Ялкут, Б.Лекарь, П.Маркман, В.Цывинский. Тбилисъ, 1983 год

С Борей в Ереване

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят…
Б. Ахмадулина

Думаю, это был 1973 год.

Первая половина октября, потому что к годовщине моей свадьбы, а она 21-го, в аэропорт «Борисполь» меня доставил самолёт «Аэрофлота».

Я вернулся в Киев из Армении, где провел в путешествии, одном из самых ярких в моей жизни, три недели в компании Бори Лекаря – только он и я от Еревана до самой южной границы, до Аракса и назад.

По-видимому, какие-то пустяковые шероховатости в наших взаимоотношениях существовали (при всей их искренности, разница в возрасте и признание авторитета Лекаря не позволяли мне быть с ним на равных, и это тяготило). Во всяком случае, точно помню, по телефону я предупредил, что намерен провести отпуск бесконфликтно и на провокации не поддамся.

Боря встречал меня в Ереване в компании невероятно толстого и лысоватого юноши, с которым он познакомился на почтамте. Самвел Берберян, 18 лет отроду, кондитер на макаронной фабрике. В Ереване и его окрестностях Самвел служил нам гидом.

Лекарю было чуть за сорок, он был во всеоружии своей целеустремленности, которой я всегда восхищался.

Из особняка (принадлежавшего Армянской академии наук) на обрыве над бурлящим Разданом, мы совершали ближние и дальние вылазки, разумеется, по Бориной программе, которой я подчинился согласно данному обещанию.

Однажды он привёл меня в мастерскую к Минасу Аветисяну.

На художественном небосклоне сияло много имен армянских художников, но звездная пара Минас Аветисян и Акоп Акопян выделялась: изысканный гиперреализм Акопа и неистовая, сине-красная живопись Минаса.

Минас. Так мне запомнилось: характерное чёрно-седое обрамление головы, чёрно-рыжая борода, шейный платок. Помню состояние: свет из окон слева, антресоль, из разговора не помню ничего, кроме насторожившего меня, совсем необъяснимого упоминания о недавнем пожаре, уничтожившем готовую выставку (кому это нужно?).

А тогда, провожая к дверям, Минас пригласил нас с Лекарем на премьеру балета «Гаянэ», с его декорациями. До премьеры оставалось десять дней, мы намечали провести их в путешествии на юг Армении.

– Минас, спасибо, это здорово, но мы с Петькой не придем. Чтобы тебя не позорить: эти свитера, помятые штаны. Как в этом на премьеру?

– О чём говоришь! Я сам так пойду! – Пас руками (сверху вниз и слегка вверх) по измазанному красками бесформенному свитеру...

В неделю с небольшим вместилось очень много, и в день премьеры (похоже, суббота или воскресенье), кое-как приведя одежду в порядок, мы приближались к театру им. Спендиарова. Этот шедевр архитектора Александра Таманяна мы «проходили» по истории архитектуры, но и в натуре он произвёл на меня впечатление: поставленный на высокий стилобат, театр возвышался в центре парка. Аллея, ведущая к главному входу, фланкировалась двумя шеренгами торговцев цветами.

Были мы не одни, а с верным кондитером и парой прибившихся москвичей, которых Лекарь убедил, что такое событие пропустить нельзя.

Стали наверху, у входа. Вокруг, сколько хватало глаз, прогуливались (парами, поодиночке, с красивыми армянскими детьми) зрители, до спектакля оставался добрый час: шикарно одетые в «посылочные» вещи, они участвовали в ритуале. Преамбула была не менее важна, чем балет Хачатуряна.

– Надо звонить Минасу, – сказал Боря.

Дозвониться было безнадежно, но мы дозвонились. Еле слышный женский голос сообщил, что Минас с утра недосягаем. Близилось начало, мы слонялись, держась ближе к входу.

Вдруг, подобно намагниченным гвоздям, все повернулись в одну сторону. К низу стилобата подкатило шикарное и длинное американское (в те времена!) авто. Из распахнутых дверей величественно явились сам мэтр Арам Хачатурян, еще несколько персон, мужчин и женщин, в их числе – Минас Аветисян. Длинный белый пиджак-сюртук напоминал горностаевую мантию. Черные брюки, сверкающие штиблеты, из «обещанного» гардероба – только шейный платок.

Вокруг ахнули и расступились. Триумфаторы развернулись в ряд и стали неспешно восходить. Величественная картина, достойная древнего Рима. Народ почтительно застыл и почти безмолвствовал.

Но надо было видеть Лекаря. – Да, пошли они... и рванул наперерез небожителям. Я заторопился следом.

– Сейчас с ними пройду, потом за вами. Только подождите. – Извинился вполголоса Минас.

Через пять минут мы были в амфитеатре, прямо под ложей, где накрыли стол для композитора и его компании. Была прекрасная музыка, мощные холсты Аветисяна, балет прожигал насквозь (один *Танец с саблями* чего стоит), зрители, аплодируя в такт,



Люда Бородкина, улыбающаяся девушка, Петя Маркман, Боря Лекарь, Лика Рублевская, Самвел Берберян

вскакивали с мест. Мне показалось, некоторые даже приплясывали. В антракте оркестр прогуливался в фойе вместе со зрителями, демонстрируя разноцветные велюровые костюмы...

Покидали Армению мы порознь. Накануне полночи просидели за столом в беседке домика кондитера, где-то на окраине, под сенью винограда. Пировали. На десерт Самвел торжественно вынес

изготовленный в нашу честь двухцветный торт. Торт был украшен *«шакаладными фигурками»*, из цукатов было выложено Б и П.

На рассвете с блоком дефицитнейших сигарет «Ахтамар» в рюкзаке я отправился в аэропорт «Звартноц»

Смутно помню, что в ту армянскую экспедицию у Бори была романтическая надежда наладить отношения с Машей, быть может, ностальгия по свадебному путешествию на Иссык-Куль. Но было ли это до Еревана или после, и было ли вообще – помнится туманно.

Оставалось два месяца до гибели Минаса Аветисяна, сбитого на тротуаре автомобилем.

Следующим летом кондитер Берберян был командирован для обмена опытом в Киев на фабрику «Карла Маркса». Все мы здесь, на этом дачном фото.

В Армению я больше не возвращался.

Подарок

В нашей среде розыгрыши считались хорошим тоном – будь то рядовая вечеринка или, тем более, торжество. Помню, мы с Мишей Щиголем преподнесли Борису на день рождения прекрасный подарок: большой прозрачный куб, а внутри над бокалом вина завис зимородок – птичка с ярким оперением, нам невероятно повезло приобрести её в магазине «Учтехприладдя» на площади Космонавтов. На всех гранях куба макетчиком была фрезерована сетка, наподобие той, что помогала средневековым художникам изображать модель в перспективе. Очень красиво и, как нам казалось, намек на Леонардо. Боря обиделся не на шутку (как-будто он без «клеточек» не может!). Правда, виду не подал, а куб с парящим зимородком и бокалом рислинга вдохновил его, по крайней мере, на одну большую работу середины семидесятых. Но это было потом, а пока нам с Мишей пришлось оправдываться, что никакой задней мысли «с этими клеточками» у нас не было.

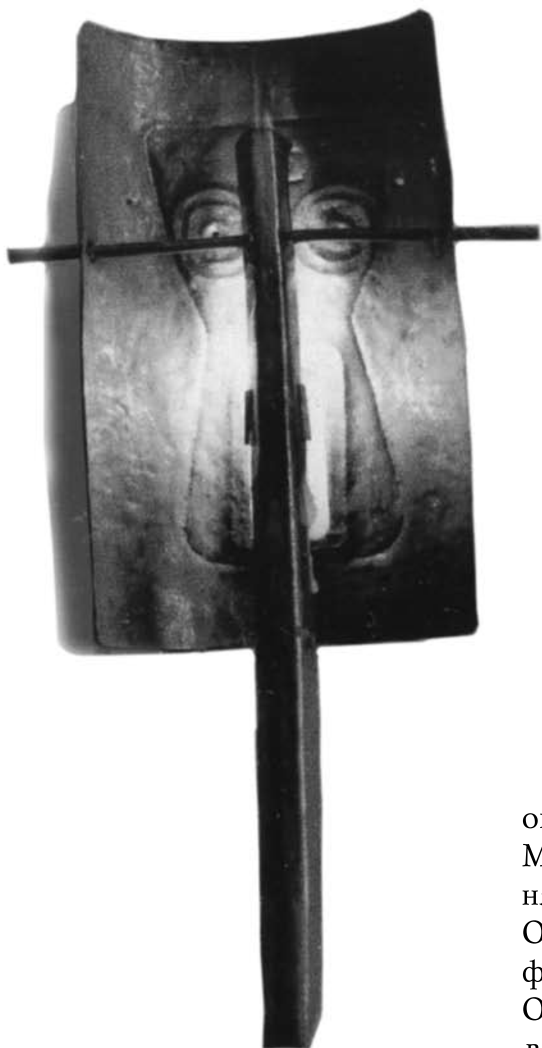
Мне приходилось писать о Борисе Лекаре при его жизни. Многое можно повторить и сейчас, оценка не изменилась, только приобрела свойство завершенности, связанной с обстоятельствами времени. Зато появилась возможность вспомнить самого Бориса Лекаря и попытаться связать в одно целое жизненную и творческую биографию...

Знакомство

Насколько я помню, в нашу компанию Бориса привел Виктор Лихтенштейн. Внешне Борис казался очень симпатичным, уютным, доброжелательным к людям, к миру, готовым к дружеству и очень благовоспитанным. Буквально, каким-то плюшевым. Панибратское обращение с похлопыванием по плечу и обращением *старик* ему не подходило. Он разговаривал в деликатной манере, чувствовалась чрезвычайная уважительность, даже почтительность к собеседнику. Это был стиль его общения. Он был, как бы сказать, на мягких лапах.

Как-то он дал мне понять, что совершенно измучен депрессиями, но я не замечал, чтобы этим состоянием он обременял окружающих. Он боролся в одиночку. Мужественно выдерживал многодневные голодовки. Совершал долгие прогулки, километров по двадцать. К ним я иногда присоединялся. Весь маршрут я не мог осилить, но два-три часа мы проводили вместе. За это время я узнал его лучше. Мне казалось, в преодолении его депрессии и в природе его художестве есть нечто общее, попытка преодолеть каменную материальность мира.

Из моего окна виден дом, где он жил, две башни на другом конце Бульвара Давыдова, который сейчас предлагают переименовать в бульвар Виктора Некрасова. Он любил бывать у нас в трудное для себя время. Заходил в кухню, там солнечная сторона, много света. Он любил свет...



Икона. 70-е годы
Латунь

Лучшие времена

В лучшие свои дни он собирал народ. В небольшую квартирку набивалось огромное количество людей. В другое время я редко видел Бориса пьющим, но сейчас был его праздник. Водка выставлялась ящиками. Стены завешивались бумагой, к ней были пришпилены бутерброды с колбасой и сыром. Бутылки растыканы повсюду. Масштаб гуляния впечатлял.

Совпадений с торжественными датами не наблюдалось, возможно, так он отмечал окончание депрессии. Мучительные тяготы болезни сменялись повышенной активностью. Он становился одержим разными фантазиями, тут он был неутомим. Он буквально кипел: организовывал аукционы с продажей работ в пользу больных детей (и это в нелучшее время для проявления инициативы), коллективные поездки, домашние выставки. Как-то он пригласил меня. Он был воодушевлен.

– Нужно собрать детей. И устроить праздник. Нужно разыграть... – Борис надел набекрень шляпу, взял в руки палку и сделал фехтовальный выпад. – Ну, как? Сойдет за мушкетера? Я думаю, хватит троих. Дюма так и написал – трое, будем придерживаться классики. Тем более, четверо в квартире не поместятся. Даже без лошадей.

– А д’Артаньян?

– Обязательно. Петя Маркман - вылитый д’Артаньян. По носу видно – чистый гасконец.

– А он знает?

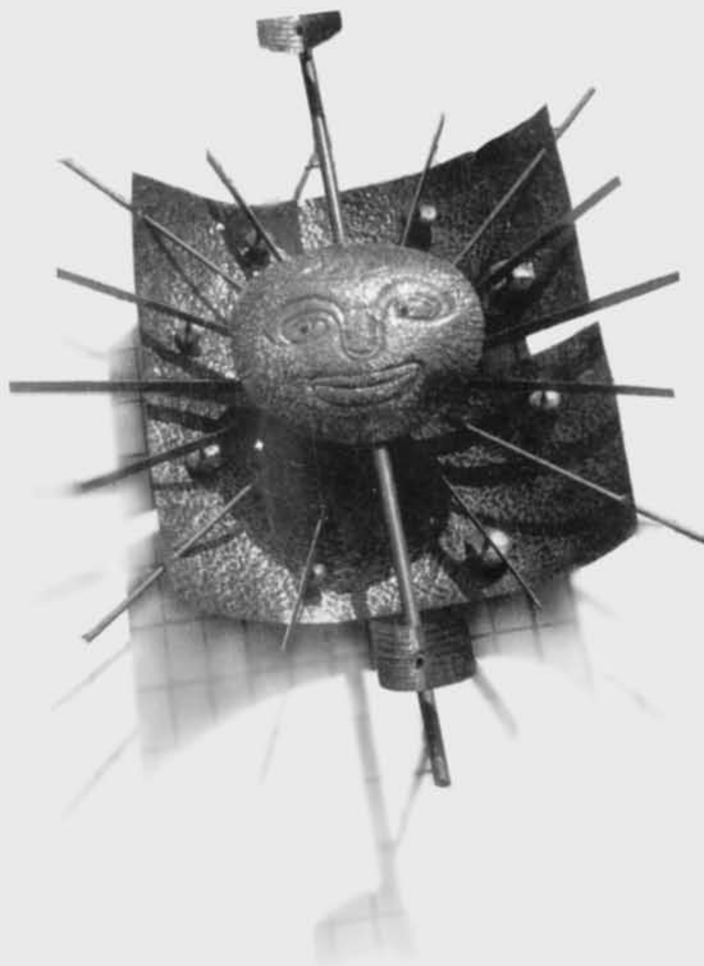
– Узнает. Запишем текст на магнитофон. А сами будем открывать рот. Под фанеру.

– Под что?

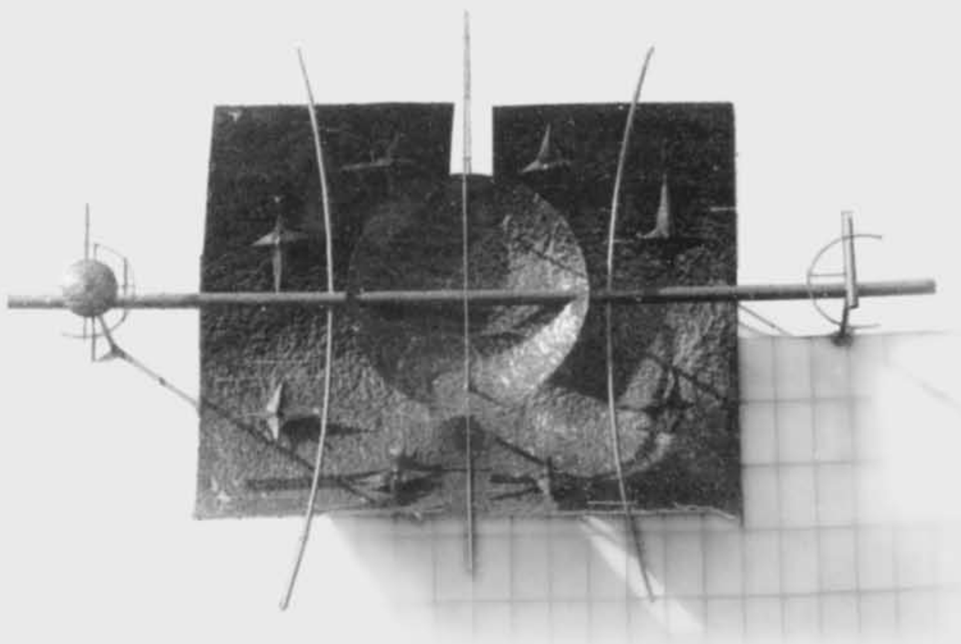
– Под фанеру. Концерт в провинции. Звоню Пете...

– Я могу миледи привести, – предложил Петя.

Мы полистали книгу, составили сценарий. Записали на магнитофон. Дети сидели впритирку. Вместо шпаг мы пользовались камышовыми палками, и старались ими не размахивать, чтобы не разбить лампу и не травмировать зрителей. Крохотная квартирка не была приспособлена для мушкетерских поединков. Сначала мы пытались придерживаться записи, но текст шел медленно. Стоять и беззвучно открывать рот, было невыносимо. Петя не выдержал и заговорил от себя. После этого с текстом никто не церемонился. Это сразу разогрело публику, тем более мы к ней обращались. Никогда не



Композиция. Солнце. 70-е годы
Медь



Композиция. Солнце. 70-е годы. Медь

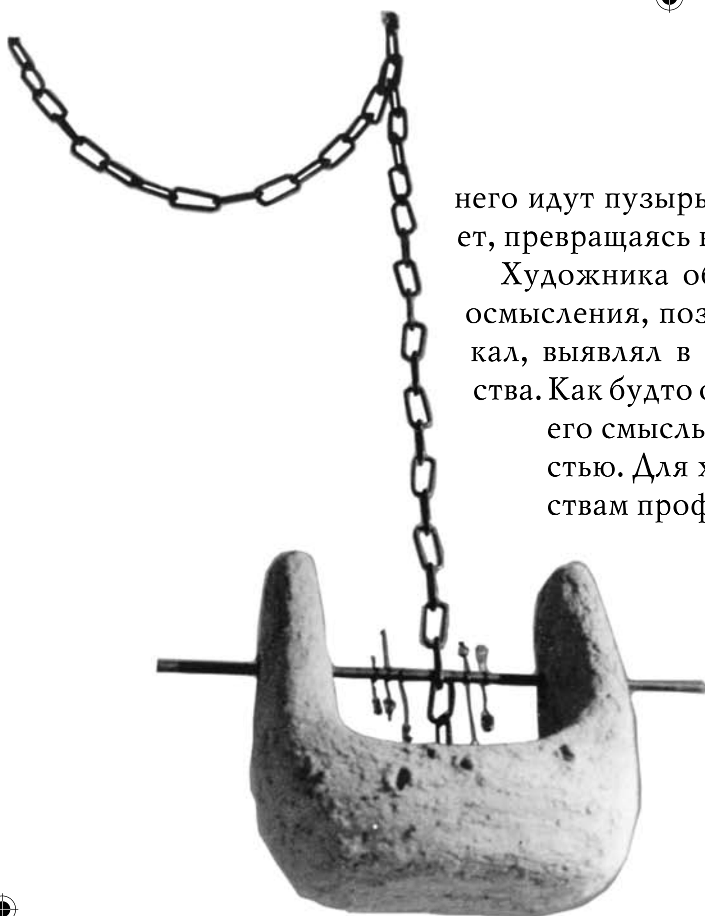
слышал, чтобы дети так хохотали и визжали. Появились Планше и прочие не предусмотренные сценарием персонажи. Ажиотаж был неслыханный.

– А если бы миледи привести, – сказал Петя.

Художество

В общих чертах я хочу повторить о чем уже однажды писал.

В живописи, где он пытался преодолеть противоречия материального и духовного, мне кажется, нашла отражение его борьба с болезнью. В искусстве непредсказуемые результаты рождаются на пути решения неразрешимых задач. Результат может быть побочным, но имеет свою ценность. В живописи 60-70 годов Борис буквально пытается высвободить, вскрыть в объекте его духовное начало. Он наделяет его внутренним свечением, выворачивает наизнанку, буквально растворяет материю в свете и цвете. Если кусок сахара бросить в чай, мы видим, как он растворяется, как от



Декоративный светильник.
80-е годы. Керамика

него идут пузырьки. Его изображение истаивает, превращаясь в источник света.

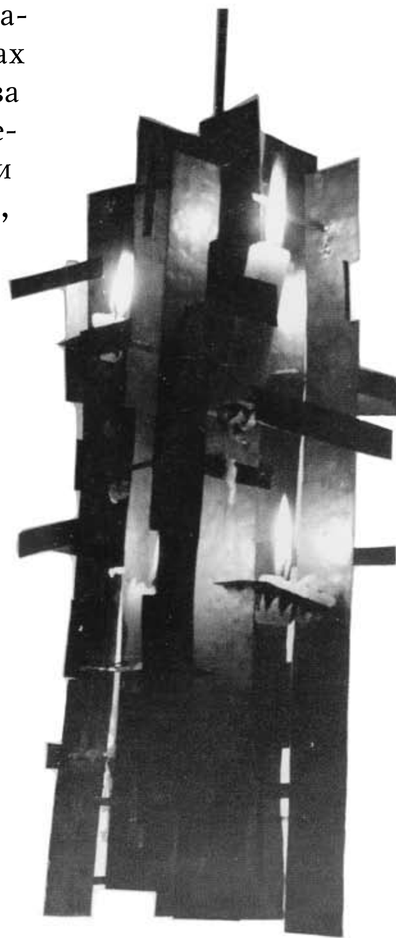
Художника объект интересует как предмет осмысления, познания. И Борис увлеченно искал, выявлял в таком объекте скрытые свойства. Как будто он боролся с миром за какие-то его смыслы, не связанные с материальностью. Для художника, которому по свойствам профессии дано выражать отношение через объектность, это несколько парадоксально.

Удавалось это поразному, не в смысле технологии, а как результат личного приобщения к увиденному. Вскоре после того, как мы познакомились, он ездил на север и привез оттуда много гуашей. И эти северные храмы, северная природа выглядит довольно мертво и окаменело. Впечатление такое, что он хотел это полюбить, но не получалось. Материальность подавляла духовность, которую он хотел передать и запечатлеть. Так, по крайней мере, мне казалось.

Акварель

Он стал писать киевские акварели. Легкими, легчайшими мазками запечатлевал пейзажи в окрестностях своего дома, закаты и рассветы, времена года, перепады освещения, и, когда он, прикрывшись шляпой или беретом, писал под дождем, было ощущение, что он разводит краски водой дождя, и дождь пишет свой автопортрет. Он в неслыханной степени ослабил цвет, с десяти шагов вы видели чистый лист, с пяти – неясное изображе-

ние и только приблизившись вплотную, можно было разглядеть предметность пейзажа. И вот что замечательно: вблизи акварель производила впечатление яркой цвет- ности, потому что, ослабив цвета, он сохранял их соотнесенность. Так одну и ту же музыкальную фразу можно сыграть в разных октавах и, уходя влево или вправо, выйти за пределы клавиатуры и даже человеческого слуха. Но там, за пределами слышимости, в зоне неуслышания, соотношение нот будет тем же.



Декоративный светильник. 80-е годы. Латунь

За спасение утопающих

Борис сидел на углу Русановской набережной при любой погоде. Но тогда была зима, вернее, конец зимы, на льду Русановской протоки стыли, нахохлившись, безумные рыбаки. И случилось то, что должно было случиться. Один из сидельцев провалился. Помогите... Спасите... Борис отложил искусство и ринулся в полынью. Вытащил.

Через год в Вечерке была заметка о опасности рыбалки на мартовском льду и этот случай был представлен в качестве примера. Так мы узнали, что Борис Лекарь награжден медалью «За спасение утопающих».

Мы в тот год очень редко виделись. Он болел радикулитом. Не только я, никто из знакомых ничего не знал. Вот что значат газетные новости, даже годичной давности. Вообще, Борис в быту вел себя как скромняга и совершенный простак.

Манерничанье, стремление выделиться в умном разговоре, щегольнуть интеллектом было не для него. И не сказать, что молчун. Выглядел простодушным добряком.

И еще, из того что встречается очень редко. Он гордился успехами своих коллег – художников. Нечастое это свойство – зависть встречается куда чаще. А Борис восхищался в Киеве, и в Иерусалиме он водил меня по выставкам, показывал чужие работы и искренне радовался успехам товарищей по живописному цеху.

Личное

Один раз меня с Борисом спутали.

В давние годы я захаживал к Юрию Алексеевичу Ивакину. Инвалид войны (потерял ногу), доктор филологических наук. В школе меня учила литературе его жена Галина Людвиговна. Полька, курносая, с завитушкой на лбу. Юрий Алексеевич – автор лучшей литературоведческой работы о Шевченко. Два тома комментариев к Кобзарю. Его увлечением были пародии на украинских писателей, он был лучшим в этом жанре. Если бы я преподавал украинскую литературу, то именно с помощью его пародий. Прототип обретал точную портретность. Юрий Алексеевич перебрал всю украинскую классику, начиная с Шевченко, талантливо, изящно и ужасно смешно. Я напечатал рецензию на книгу его стихов, он ответил, что я понял правильно, а понимание дороже, чем похвала. Я стал к ним захаживать. Я к нему привязался, но почтение мешало мне бывать у него часто. Он был знаток русского живописного авангарда и собрал замечательную коллекцию.

И Борис у них бывал. Заходили мы туда порознь. Однажды открыл ему Юрий Алексеевич. В прихожей было темно. Юрий Алексеевич Бориса обнял. – Галя кто к нам пришел... Мирон пришел... Боря договорился с Галиной Людвиговной, а двери открыл сам Ивакин. Не пригляделся, мы с Борисом оба бородачи, одинакового роста... Он ждал, что я приду. А я боялся его лишний раз побеспокоить. Это было для меня горьким укором. Увы, поздно.

Борис рассказывал об этом мне со смущением, но это было потом.

Владимирка

Я сказал ему, что название – Бульвар Энтузиастов, где он жил, это сколок с московского шоссе Энтузиастов. А шоссе, в свою очередь, бывшая Владимирка, по которой гнали в Сибирь арестантов. Знаменитая *Владимирка* Левитана. Кому-то в революционные годы пришла идея с переименованием. Юмор, если поглядеть, довольно инфернальный. Борис жил на пересечении Энтузиастов и Бульвара Давыдова. Первый вопрос несведущих и Бориса, в том числе, не в память ли Дениса Давыдова, славного гусара и поэта? Ясно (по временам), что нет, невероятно, но хотелось. Если бы! В Киеве был свой градоначальник Алексей Давыдов. Бульвар назвали в его честь, хоть если и был конкретно этот Давыдов знаменит – Куреневской катастрофой с сотнями жертв. Решил намыть Бабий Яр и на месте злодейства устроить Парк отдыха. Весь этот рукотворный оползень разбух во время весеннего таяния, прорвал перемычку и с горы обрушился грязевым потоком на район Куреневки. Давыдова предупреждали. Виктор Некрасов публично возражал. Надругательство над памятью погибших. Эту тему тогда на акцентировали. Но была гидротехническая экспертиза, и Некрасов именно так аргументировал. А Давыдов сделал. Очень хотелось отличиться. Некрасов до «Литературной газеты» дошел, дал реплику. Не помогло.







Историческая аллея.
70-80-е годы.
Совместно с М.Щиголем

Историческая аллея

О том, что Борис не просто архитектор, а кандидат архитектуры, я узнал не от него. И никогда бы по его поведению не догадался. Я в юности хотел быть архитектором, мечтал, как гимназист об Африке. Купил в киоске журнал «Городское хозяйство Москвы». Там последним разделом была архитектура. Я был увлечен, читал Витрувия, заучивал рецепты красок, вышедших из употребления сотни лет назад. Архитектурный рисунок приводил меня в восторг, тушь, перо, а если еще подкраска акварелью – это просто потрясение, предел эстетики. Потом я понял, моих талантов для архитектуры недостаточно, но интерес сохранился. Борис серьезно относился к моему мнению на этот счет. Сначала я даже не понимал, на самом деле или с иронией, когда понял, что всерьез, я смутился. Как-то мы попали с ним на Правительственную площадь (кажется, так она тогда называлась). Она выглядела тогда по-другому, не было Михайловского монастыря. Я говорил, Борис внимательно слушал мои рассуждения, о том, как малые архитектурные формы меняют пространство, среду, как утепляют образ города.

А ведь Борис и создал тогда эти формы. То, что они с Михаилом Щиголем построили в скверах вдоль южной стены Присутственных мест. Фонтан с языческим солнцем, Светловид, Збручский идол, старинная пушка, лев, три грации (скифские бабы). В сово-

купности это давало историческую ретроспективу Киева. Когда я предложил называть эту аллейку Историческим бульваром, Борис принял охотно.

Аист в сквере на Кудрявской, фонтаны на Русановской протоке. Он не только рисовал Киев, он его строил.

В Иерусалиме мы обсуждали сравнительные достоинства архитектуры. Киевский ландшафт совершенно уничтожен застройкой, год за годом его сплющивают. В Иерусалиме наоборот, здесь не застраивают овраги, а строят на вершинах холмов. И ландшафт не только не пропадает, но подчеркивается.

Когда-нибудь в грядущей киевской археологии дойдет очередь и до Бориса. Его абстрактные скульптуры-светильники на Березняках вошли в противоречие с тогдашней идеологией и были закопаны. Они дождутся второго своего открытия.

Израиль

В девяносто четвертом году я впервые попал за границу. Начал поздно, но правильно – с самого начала. С Иерусалима. Попал на конференцию об Украинско-еврейских отношениях. Отношения, как мы знаем, были разные. Жил я в четырехзвездочной гостинице со шведским столом, столь изобильным, что после него впору было лезть на шведскую стенку. Борис взял опеку надо мной и Вадимом Скуратовским. Возил нас на Мертвое море. Дорога вдоль моря – раскаленный каменный ад, а буквально через шаг – зеленый рай. На привезенной воде, привезенной земле. Может, когда-то с этого начиналась история? Здесь это кажется реальным – совмещение божественного творения и человеческого труда. Домики, бассейн, холл для конференций, детский сад, пальмы, экзотические деревья с невероятными цветами. Переступаешь невидимую черту – и ты все это видишь. Отступаешь буквально на шаг назад – и возвращаешься в пекло. Сколько было затрачено работы и упорства, чтобы ад превратить в рай. Оказывается, можно при наличии доброй воли. Это не только впечатление об Израиле, для меня это было свидетельством, прививкой против пессимизма: человек может многое решить, воссоздать на благо земли и живущих на ней.



Декоративный светильник. 80-е годы.
Бетон

Борис преподавал в этом кибуце основы изобразительного искусства. Выглядел бодро, был порывист, энергичен. Очень поздоровел. Обходился с автомобилем, как ковбой с конем. Лихачил страшно, но мастерски. Знал, что может себе это позволить. В Европе ездят по одной стороне, в Англии по другой, в Израиле посредине и поперек. Такое у нас с Вадимом создалось впечатление по результатам Бориного вождения.

Купания в Мертвом море я ждал, хотел воссоздать в полной мере запомнившуюся картинку из книжки Перельмана «Занимательная физика». Человек лежит в этом море на спине и читает газету. Очень хотелось испытать на себе. Результат оказался неудачным. То ли газеты не было, то ли лежать на спине я не умею. Лег и тут же перевернулся с пагубными для себя последствиями. Вода, а, вернее, едкая жидкость, из которой это море состоит, плеснула в рот и глаза. Благо, душ оказался на берегу. Как физик, Перельман, безусловно, прав, но его примерами и выводами следут пользоваться с осторожностью. Впрочем, это имеет отношение и к другим физическим закономерностям.

Израильские пейзажи Бориса Лекаря – это, конечно, душа этой страны. Каждый, кто хоть однажды посетил Израиль, подтвердит их соответствие натуре – в конкретных деталях и, главное, в том ощущении пронизанности голубым и желтым светом, которое Андрей Белый (по другому поводу), назвал золотом в лазури. Я тому свидетель.

Поскриптум

При последнем посещении Киева Борис привез необычную коллекцию. Мелкие инсталляции, кукольный театр. В этом театре не было трагизма, веселье и юмор, лирическая грусть и немного иронии. Творческое состояние, по которому Бориса можно было узнать. Одна из инсталляций состояла из двух отдельных кадров. Начало жизни – обнадеживающее, веселое. И ее конец. Грустное. При обсуждении выставки кто-то выделил эту сценку, как одну из немногих трагических. Я не согласился:

– Вам это кажется трагичным, потому что вы читаете слева направо, а у них, в Израиле, читают справа налево. И поэтому смысл противоположный.

Теперь я думаю, что были правы мы оба.

О ПОЕЗДКАХ

Прогулки по Каменцу

Когда-то мы веселой компанией побывали в Каменце-Подольском. Время тогда удерживало от соблазнов, деньги – главный совратитель – при социализме, уж, какой он был, не играли решающего значения. Публика, с которой я общался, находилась в состоянии тихой нелюбви к власти, позволяла себе брюзжание.

Собрал нас вместе Боря Лекарь. На его опыте я твердо могу утверждать, что конфликт хорошего с еще лучшим – не ироническое определение сути социалистического реализма, а нечто совершенно естественное, и, по крайней мере, для некоторых случаев, имеет характер не вымышленный. Одна половина его натуры была именно хорошей по самому высокому разряду, когда можно отвечать, не задумываясь, дай Бог, всем быть такими. А другая – как вызов людям обыкновенным – еще лучшей, прямо до степени невозможной. Тут его рыжая шевелюра начинала светиться, как будто подтверждая повышенную активность энцефалограммы (вот оно материалистическое объяснение природы нимба), и, стряхнув привычную меланхолию, он решительно брался за подвиги – собирал детишек для эстетического обучения, делал благотворительные аукционы, кого-то опекал... В те времена активно проявляемая добродетель могла послужить вызовом. Как-то раз я привел к нему в мастерскую итальянку. Большая редкость для тогдашнего Киева, итальянка стажировалась в нашем университете, изучала, как мы себе представляем труд О. Шпенглера «Закат Европы»... А мы и не знали. От нас его не было видно...

Мы выбрались на крышу. Мастерская была на чердаке, а сам двенадцатиэтажный дом – на верхушке одного из киевских холмов, вид открывался замечательный, с ликеро-водочным заводом на переднем плане. На следующий день к в мастерскую под видом пожарной инспекции ворвались с обыском. Бориса прижали к стене, вели себя нагло, мастерскую перетряхнули, предупреждение он получил сразу первое и последнее. Едва спасся от выселения.

Таких, вроде бы мелочей, набиралось немало, но именно мелочей, и жизнь, как теперь помнится, была заурядная. Если бы у доброты были вершины (ибо, что такое добро, как не приближение к небу), Борис снискал бы славу заслуженного альпиниста, восходил, держался, пока хватало кислорода, спускался чуть пониже к обыденной жизни, но далеко не отлучался, старался быть рядом, чтобы поспеть к новому восхождению. В стремлении к добру он не расслаблялся. Однажды обзвонил знакомых, собрал, купил билеты, заказал гостиницу и вывез нас всех в Каменец.

Несколько дней мы бродили по городу, но запомнилось мне тогда мало, возможно, по причине полного погружения в благостное состояние, слияние каждого со всеми. Нечто подобное, возможно, ждет нас в конце времен, но, как видно, бывает и при жизни, редко, но бывает. Кажется, материальная сторона была тогда утрачена, сохранилась лишь эфирная. Именно так мы общались, но, поскольку идеальное общение должно оттеняться точной эстетической деталью, судьба послала нам женщину с уникальным талантом. Она удивительно точно различала голоса птиц. Здесь нужен был особый дар. Мы ходили по Каменцу, полному птичьего пения, и она, ориентируясь на звук, сообщала, кто где – скворец, жаворонок, зяблик, малиновка. Птиц было удивительно много, она знала всех исполнителей, не только голоса, но смысл того, что неосведомленный человек пренебрежительно зовет *чириканьем*. Все оказалось куда сложнее, и хоть сюжет, как правило, сводился к любовному роману, но и он был заполнен страстями, которые гомо сапиенс приписывает себе и никому больше. Что за тщеславное высокомерие! Знакомство, ухаживание, строительство семьи, ревность, беспощадная борьба с соперником, отчаянный женский призыв, дети, конечно, – все это имело звуковое выражение, все это значило именно то, что называется нами – профанами *птичьим пением*. Птичья жизнь, снабженная разъяснениями нашей спутницы, оказалась похожей на оперу, с сюжетами на любой вкус, мотивами и ариями, как в театральной программке на месяц вперед, знание либретто придало страсти осмысленность, сделало ее понятной, как если бы певцы перешли с итальянского на русский. И хотя есть мнение, что сюжет опере не нужен, даже *мешает наслаждению*, но ведь и жизнь берет свое, и объяснение не будет лишним, чужие

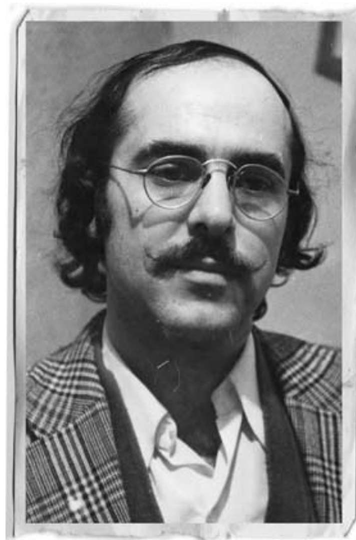
страсти – предмет не только сопереживания, но интереса. Каково у них*, у птичек*? Наша спутница лишь подсказывала, и пальчиком с розовым ногтем указывала на незримое колыхание занавеса, где еще таился герой, откуда его следует ждать, и он влетал, нервно распахивал зеленую кулису, в пестром камзоле, в коротких цветных штанах, открывающих проволочные сильные икры. Потом, трепеща, являлась подруга, и закручивала интригу на весь диапазон голосовых связок, с расчетом на зрителей, среди которых, возможно, таился счастливый соперник или соперница, и хор пристрастных родственников. Мы, как участники, не учитывались, и очень хорошо, реальная драма требует уважительной тишины, а не аплодисментов. Что-то в этом было от приближения к раю, с птичками он связан теснее, чем с другими созданиями Божьими, но и с подсказкой – подлинных страстей не избежать даже там, наверху. Что, собственно, и подтвердилось в начале человеческой истории.

Более связных воспоминаний у меня не осталось, блаженство растопило память. Женщину-орнитолога (ее консерваторское образование можно считать второстепенным) я стал встречать в Киеве много позже, лет через десять и далее, всякий раз по одному и тому же поводу. Раз в год мы собирались почтить память общего приятеля Георгия Фенерли. Он был философом, а о философах нужно писать особо. И поэтом. Тут каждый говорит за себя:

В тот день и час
Несметности часов,
Когда душа
Замкнута на засов,
Из слов
В пучину мира руки,
Как ангелы несут
Слепцу
Два глаза видеть муки…

Муки – это в поэзии, а она не менялась и всегда была с мужем. Его, если я помню, звали Коля. Философ познакомил их, и, как она подчеркивала в застольном слове, союз оказался удивительно прочным. Еще не доказано, насколько философия способна изменить мир к лучшему, но, как частный пример, этот случай можно засчи-

тать. Муж выглядел моложе, и все время молчал. Я не услыхал от него ни слова. Возможно, это преувеличение, ведь не может быть человек вовсе беззвучным, но такое осталось впечатление. Можно было подумать, он немой. Даже когда она обращалась непосредственно к нему (от имени семьи всегда говорила она), просила подтверждения крепости уз, он только склонял голову в знак согласия. В молчании жест обретал значительность и даже благородство. Только так и можно было определить, он не глухой, никак нет. Он никогда ей не перечил, по крайней мере, на людях. Его беззвучность, казалась, имела связь с ее особенным талантом. Люди молчат, когда поют птицы, это не прихоть – такова иерархия природы, один из законов красоты. Что оставалось любящему мужу? Деликатность. Соблюдение тишины. Это была экологическая семья, не прагматически, в постоянной озабоченности Чернобылем и прочими бедами века, а идеально. Когда они ушли через дверь, я даже удивился. Балкон был открыт, а ближайшее дерево находилось совсем недалеко, в каких-нибудь десяти метрах. Наш друг философ был идеалистом, не мечтателем, а именно идеалистом, искавшим подтверждение теории. Падают лишь отчаявшиеся и неосторожные, люди веры летают и парят, взявшись за руки. Именно так они и ушли. Важно правильно расслышать голос и не поддаться искушению. Так, почему не поучиться у птиц?



Георгий Фенерли

У Бориса был портрет Георгия Фенерли. Портрет философа-метафизика, так он его представлял. У них было общее...

Вот перед вами белый лист былого.
Страница – топкая страна.
В ней крылья наши.
Имена.
И силы.
Всё в ней...

Выставка во Львове

В этом рассказе речь идет о выставке в городе Львове двух художников Бориса Лекаря и Александра Павлова (Алика). Дело было в 1986 году, когда грядущие перемены в идеологии даже не угадывались. Этим все и объясняется. Полностью рассказ опубликован в книге «Владимирская горка» (авторы: А. Павлов, С. Ялкут) под названием «Из жизни андерграунда». Так все и было, как рассказано по свежим впечатлениям.

Вообще, предполагаемая выставка казалась чудом. Колючий, несговорчивый Алик не желал никаких компромиссов. Он рвался к признанию, как безбилетник в метро, не желая бросать пятак в пользу идеологии, и она с лязгом щелкала перед ним своими железными зубами. Но сейчас, когда в инстанциях озабоченно прислушивались в ожидании указаний нового вождя, Алик должен был использовать случай.

– Портреты не бери, – советовал я.

– Почему это?

– Нет, я не о том говорю, – заторопился я, опасаясь, что Алик усмотрит в совете недооценку его творчества. – Сам погляди. Гумилев – ясно кто. Контрреволюционер. Гамсун. Параджанов.

– Этот я точно повезу, – сказал Алик, который гордился портретом. – Что они там совсем безглазые?

– Не безглазые. Просто мозги другие. В тюрьму сажают, снимать не дают, а ты выставляешь. Запретят всю выставку.

– Ладно, я подумаю. – Алик прокашлялся. Он не одобрил моей осторожности.

– Этот хоть не бери.

Алик был готов на безнадежный бой, но тут было слишком. С внушительного холста, полыхающего алым цветом, скалился мужской профиль. Густая цветотень давала полное впечатление распадающейся плоти. Выхваченный из буйных красок жутковатый лик с провалившимися щеками, разъеденным носом и застывшей одержимостью на дне глазниц производил завораживающее впечатление. Судя по тому, что портрет постоянно присутствовал на стене, Алик его ценил.

– А этот почему не годится?

– Потому что это портрет Ницше. Нет, ты прямо как с дуба упал.

– Это они упали на нашу голову. Сов-депия. Пусть читают, что гении пишут

– Пока прочитают, выставку запретят. Юбилейный год, сорокалетие Победы. А ты приехал со своим Фридрихом. Точно, запретят.

– Нужно Борьку, – застонал Алик. – Он их приведет в юбилейное состояние.

– Это было бы замечательно, – поддержал я. – Вы совершенно разные. На контрасте будет дополнительный эффект. А портреты не бери.



Б. Лекарь, А. Павлов

– Как же Борьку уговорить? Главное, ты видишь. Хоть бы точно сказал. А то звонит, нет, не еду. А через день, едем или нет? И так все время.

– Так оно и будет. Свойства характера. Эффект «равлика-павлика». Только ты отвернулся, он показывается, ждет внимания, ты к нему, а он опять в свою ракушку.

– Ладно. Что делать? – Алик был явно раздражен моим примиренчеством.

– Не обращай внимания. Увидишь, он сам себя найдет И тогда не уговаривай. Просто сообщи, что едешь.

– И главное, машина моя, – возмутился Алик.

... и они отправились. Перед выездом Алик позвонил. – Борька согласен. Сам вызвался. Я под картины заднее сидение снял. Через три недели вернемся, расскажу.

... Но встретиться пришлось через три дня, хоть впечатлений оказалось, действительно, много.

Доехали благополучно. В выставочном зале еще убирали со стен предыдущую экспозицию. Ветераны – любители живописи демонстрировали свои работы к юбилею Великой победы. Стены пестрели тихими пейзажами, огромными батальными сценами с подбитыми немецкими танками, тщательно выписанными портретами серьезных пожилых людей, щедро увешанных наградами. Друзья перетащили работы из машины в директорский кабинет и пошли устраиваться в гостиницу. Двухместный номер был забронирован заранее. Организацией выставок временно заправляла молодая черноволосая дама, директор был в отъезде и должен был вот-вот вернуться.

– Він мене попередив, – информировала распорядительница на певучем украинском языке. – Це дуже добре, що ви приїхали. Я вважаю, можемо починати розміщення. Павло Іванович – найкращий фахівець сучасного мистецтва. Людина старої дати. То він, безперечно, дасть добро, тим більше він мене попередив, домовленість ви маєте. Так що можемо починати.

«Даты», если передать на русском языке, означало – старых традиций, в общем, что-то хорошее. Женщина держала в руках бумаги, рекомендующие выставку, как достойный вклад в современное украинское искусство и просила запросто называть ее Альбиной. Она начинала полнеть, лицо было красивым, смуглым, с родинкой на щеке. Было на кого поглядеть. Алик выпятил грудь. Все оказалось необычайно легко и приятно. Готовые к сопротивлению местного начальства, друзья не могли нарадоваться. Весь следующий день они трудились, развешивали работы. Даже сомневающийся Боря воспрял духом.

– Видишь, – вразумлял Алик. – А ты ехать не хотел.

– Ты погоди. Пусть сначала выставку откроют.

– А чего смотреть. Львов – не Киев. Слыхал, что Альбина про Павла Ивановича говорила. Фахівець старої дати. Я думаю, в честь открытия возьмем ее в ресторан, посидим скромненько.

Альбина дала в помощь единственного рабочего, и сама забегала – узнать, как идут дела. Судя по реакции, Борина живопись ей нравилась больше. Альбина взволнованно ахала, глядя на портреты в глубоких черных рамах. Погруженные в сумеречное пространство, лица светились, как горящая вполнакала матовая лам-

почка. Белые волнистые парики Моцарта и Баха расплывались, перетекали в нимб, будто только что взбиты и завиты чуткой рукой парикмахера и еще несли на себе легкое облачко пудры. Особенно Альбине понравилась Смерть Сократа. Лысый череп философа с широко раскрытыми безжизненными глазами был отделен от туловища острым треугольником.

Вопреки Бориным опасениям, приемка готовой экспозиции прошла успешно. Реакция Павла Ивановича превзошла ожидания. Высокий седой старик с застывшей спиной расхаживал по залу. Рядом с плотным живым инструктором обкома по культуре директор передвигался величаво и спокойно, как вернувшийся на родное гнездо журавль. Обкомовец внимал директору с подчеркнутым почтением.

Особенно долго осматривали работы Алика. Инструктор останавливался перед каждой, замирал в охотничьей стойке и даже носом шевелил, как будто одного интеллекта ему – ответственному за культуру было мало, и вернее было положиться на инстинкт. Чувствовалось, что пульсирующая поверхность холстов, открытые бьющие краски настораживают его и тревожат. Беспокойно принюхиваясь, он искал глазом Павла Ивановича.

– Може буть, – уверенно отвечал тот в ответ на немой вопрос. – Нехай.

Инструктор успокоенно кивал.

– Ну, что же, – сказал он, когда осмотр был закончен, и пожал художникам руки. – Я думаю, для нашего города это определенное событие. – Инструктор еще подумал, прикидывая, что бы еще добавить, но решил, что для начала и этого достаточно.

– Нехай, – сказал Алик Боре. – Видал долдона. Боится слово сказать.

Боря помалкивал. Во время осмотра ему намекнули, что обком имеет живописный фонд. И одна из Бориных картин, по его выбору, может подойти в партийную дарохранительницу. Пока обнадеженные друзья отправились в кафе, поели и выпили в честь близкого открытия по рюмке коньяка.

– Пошли назад. – В Боре не утихало смутное беспокойство. – Я хочу работу перевесить.

Но перевешивать ничего не пришлось. Довольных и сытых приятелей встретила озабоченная Альбина.

– Туда нельзя, – остановила она, когда Алик и Боря по-хозяйски направились в зал. – Там комиссия.

– Какая еще комиссия? – Но Альбина на этот вопрос отвечать не стала и прошла на выставку, прикрыв дверь прямо перед носом сунувшегося следом Алика.

– Нельзя, – коротко отмахнули из зала.

Выскочил утренний инструктор. Совсем теперь другой человек. Глянул вокруг пустыми глазами, бросился к выходу и исчез. Внутри затевалось что-то непонятное.

Боря отошел к окну и затосковал. – Что ты там стоишь? – взорвался Алик. – Пошли в зал.

Боря подозвал Алика к окну. Внизу как раз подкатила машина. Оттуда выскочили люди, и, ведомые подоспевшим инструктором, вошли в здание. Не глядя по сторонам, тройка проследовала мимо, и дверь захлопнулась еще крепче. События, видать, разворачивались нешуточные.

Наконец, двери распахнулись, инструктор встал на пороге и без слов, движением руки пригласил зайти.

Развернутая спокойными, холодными лицами, стояла группа в костюмах и галстуках и смотрела на Алика и Борю многоглазо и едино, как дракон.

Одна из голов, по виду главная, с брезгливым выражением, которое возникает от созерцания малосъедобной, но необходимой для жизни пищи, принадлежала мужчине средних лет, выглаженному, холеному, источающему, в отличие от настоящего дракона, не жар, а ледяной холод.

– Это ваши картины? - спросил мужчина, будто очевидный факт еще нуждался в дополнительном подтверждении, а сами работы были были чем-то вроде вещественного доказательства, предъявленного для опознания уличенному преступнику.

– Мои. – подтвердил Алик.

– Что же это?

– Как что? – возмутился Алик. – Экспрессионизм. Фовизм, если хотите. Вот там, кстати, в пояснительной записке изложено. – Алик кивнул в сторону двери. Там на прикрепленной к двери странице большими буквами было изложено правильное представление о его «трудной» живописи. – Прочтите сами. Кандидат искусствоведения Фогель.

– Я не об этом. – Мужчина не менял тона, похоже, реакция Алика была для него делом привычным и даже ожидаемым. – Фогель пока не причем. – Продолжал он, медленно поводя своей главной головой, и все второстепенные как-то сразу задвигались, зашевелились и зашипели что-то негромко. – Как вы называете эту работу? – Главный ткнул пальцем в картину.

– Портрет молодого человека. Там все написано. – завелся Алик. – Прочтите сами.

– Я прочел. Внимательно. Даже, может быть, лучше, чем вы бы хотели. Значит, портрет молодого человека? А вот здесь? – Мужчина вывернул работу тыльной стороной и предъявил присутствующим. – А вот здесь написано. Портрет Ницше. И никакого упоминания о молодом человеке. Что вы на это скажете?

– Какое это имеет значение? – взвился Алик. – Это живописный образ...

– Минуточку. – Мужчина жестом прервал дальнейшие объяснения. – Вы привозите к сорокалетию великой Победы портрет идеолога нацизма и утверждаете, что это всего лишь живописный образ. И не имеет значения, кого вы под этим образом скрываете. Сами прячете подпись с тыла, потому что прекрасно понимаете, что к чему. Знаете, как это называется? – Алик готов был броситься в бой, но взмах руки его остановил. – Так вот. Называется это идеологической диверсией. Только так. – Тишина стояла торжественная, подобающая моменту, а голос продолжал вещать. – Только так. И не иначе. Этот Фогель может маскировать ваши творения, как угодно. Фог-гель. Вот потому вы и назвали: портрет неизвестного человека. Молодого? (Поправили сзади.) Неизвестного лучше. Смотря для кого. Думали, мы не понимаем? Так? А те, на кого вы рассчитываете, они поймут. Те прекрасно поймут. Они ведь с изнанки на нашу жизнь смотрят, вот, вы для них с изнанки и подписали.

К концу этой речи все застыли, не шевелясь. Особенно отрешенной была голова Павла Ивановича. Директор, оттесненный более крепкими спинами, располагался позади, но, выгадав в росте, глядел поверх предстоящих прямо в окно, как бы ничего не видя и не слыша.

– Так вот. Вы вдумайтесь, товарищи, – продолжила разоблачение главная голова, – Ницше у них открывает выставку, а Со-

крат – прогрессивный философ лежит в гробу. Гуманист. С отрезанной головой.

– Почему в гробу? – Заволновался до сих пор молчавший Боря. – Это рама такая.

– Раму можно всякую сделать, – подсказали из толпы. – Моцарт тоже в гробу…

– Вот именно. Зато неизвестный мужчина жив-здоров. Во всей красе. А вот еще… – Предводитель уверенно пересек зал, дождался остальных и зачитал. – Мужской портрет. Поглядим, что за мужчина такой. Пожалте с тыла, с изнанки, так сказать. Господин Гамсун. – Жест остановил рванувшегося Алика. – Нам скажут, драматург. Это мы и сами знаем. А вот то, что некоторые стараются прикрыть, оттого и надписывают с тыла… для своих. Господин Гамсун – коллаборционист, осужденный своим народом за сотрудничество с фашистами. Вот ведь как. Родной народ его осуждает, а мы его здесь на выставках демонстрируем… Потому что нужная кое-кому идеология. И нам ее подбрасывают.

– Подождите, – возмутился Алик, которому, несмотря на всю прыть, не удавалось вставить ни единого слова. – Вы мне ярлыки не клейте. У меня отец воевал всю войну.

– Тем более печально, когда сын вывешивает такое в нашем городе. И еще прикрывается неким Фогелем. Думает, что мы не разберемся. А мы разобрались.

– Ничего подобного.

– Значит так. – Мужчина стал еще строже, буквально обледенел. – Дискуссию, я думаю, можно считать законченной. Выставка, конечно, отменяется. Картины мы оставляем до выяснения обстоятельств. И передайте мне (кивок в сторону Павла Ивановича) все бумаги, рекомендации, писания вот этого Фогеля. – Начальственный палец ткнул в листок, где картины Алика сравнивались с творениями Сезанна, Руо и других отцов современной живописи. – А вы, господа, – начальник с иронией обратился к художникам, – можете пока быть свободны. Вы ведь в гостинице остановились. Павел Иванович в курсе? Так ведь? Сидите и ждите. Вас известят…

Художники вышли на улицу и расположились в скверике напротив. Боря упорно молчал. Он не проронил ни слова, закрыл глаза

и откинулся на спинку скамьи. Наверно, задремал или предался грустным мыслям. Алик ерзал, не в силах оправиться от жестокого удара. От дверей музея отъехала машины с членами комиссии. Было безлюдно, по весеннему светло и как-то печально. Потом дверь отворилась, выпустила тощую фигуру Павла Ивановича. Директор материализовался на ступеньках, глянул на небо, то ли прося благословения, то ли прикидывая вероятность дождя. Еще постоял, приноравливаясь к погоде, и бодро зашагал прочь. Шаг был по-стариковски мелковат, но, главное, не в этом. В руках, как чемоданы, директор тащил картины.

Алик толкнул дремлющего приятеля. – Ты гляди, что делает фахивец проклятый. – Не дожидаясь, пока Боря придет в себя, Алик перемахнул через ограду и понесся за директором.

– Хвылынку. – Алик был моложе, бегал быстрей и директора настиг. – Куда? – Алик схватил Ницше (это был он) и потянул к себе. – Куда это вы несете?

– Куды трэба.

– А куды?

Алик тянул к себе, но и директор не сдавался. Ницше жутковато таращился с портрета.

– В идеологичный виддил. На экспертизу. Цэ в вашых интересах.

– Какой еще виддил? Кто вам дал право снимать мои работы?

– Я директор, маю право.

– Нэ маетэ.

– Маю. Я нэсу видповидальнисть, якщо вы мэне обдурылы.

– Кого это обдурылы? А ну, пусти. – Руки конфликтующих сторон были заняты. Алик сделал угрожающий выпад и нацелил директору головой прямо под воротник рубахи. Павел Иванович отшатнулся и выпустил добычу. Он испуганно глянул по сторонам, как выскочивший из-под машины петух, но узрел только подоспевшего Борю. Директор поправил пиджак, повернулся, и пошел дальше, как ни в чем не бывало.

– Видал. – Алик проводил директора недобрым взглядом. – Стучать побежал в свой виддил. Борька, давай в гостиницу. Хватай паспорта и назад. А я пока покараулю, чтобы еще чего не растащили.

Дальше события развивались со скоростью ограбления банка. Разложив по карманам паспорта, друзья ворвались на выставку мимо растерянной Альбины, поснимали работы и снесли в машину. Мотор Алик не выключал.

Отдышались за городом, когда миновали милицейский пост. – Знал бы, я бы с него и пиджак стащил, – сказал Алик. – Он рецензию Фогеля забрал. Побежал докладывать. Представляю, что теперь будет. Я из Альбины выжал. Он, пока мы в кафе сидели, шарил, вынюхивал с изнанки. Его работа. Старои даты. Там пробы негде ставить, не то, что даты.

Боря молчал. С пассажира, что возьмешь. Он проглотил спасительную таблетку и сейчас медленно погружался в дремотное состояние. Павел Иванович, Сократ, люди со сверлящими глазками уплывали прочь. Реальность ждала впереди. Как хорошо дома. Сейчас в мае там была распахнута дверь на балкон, далеко просматривалась набережная канала, а вечером сияли подсвеченные, бьющие с поверхности воды, фонтаны. Их Боря проектировал и строил...

Алик чертыхался. Каково было везти сонного приятеля. От этого он испытывал нестерпимое желание улечься самому. Ехал Алик быстро, сначала, опасаясь погони, потом, чтобы проветрить голову от дурных впечатлений. Неудивительно, что на окраине Киева машину остановил инспектор ГАИ.

– А вы за что? – только и спросил Алик, глядя, как инспектор разглядывает дырки в водительском талоне.

– За превышение скорости. – Инспектор глянул сквозь окно на дремлющего Борю, не нашел ничего подозрительного, спрятал талон к себе в сумку, откозырял и исчез.





ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ХУДОЖНИК…

Обучение живописи (Аким Левич)

Я живу на Русановской набережной. Летом в жару до моего балкона долетают брызги фонтанов. Хорошо, если половина из этих фонтанов работает, но все равно это - знак и повод вспомнить их создателя – Бориса Лекаря.

Мы не были близкими друзьями. Но он считал, что у меня учился. Он спрашивал совета. Как научиться рисовать? Это общий вопрос для того, кого увлекает живопись. Борис был к тому времени зрелым человеком, дипломированным архитектором, ему было поздно рисовать гипсы. Это нужно делать в пятом классе. Рисовать кувшины, гипсы, античных героев. Мой путь для него не годился. Со взрослым человеком нельзя так обращаться. Не помню, что я говорил тогда, но сейчас я бы отправил его в какой-нибудь садик на скамеечку с блокнотом для рисования. Чтобы он почувствовал, что такое живое. У него сначала бы плохо получалось. Не страшно. У всех именно так. Но важно познакомиться с живым. Почувствовать своей рукой, глазом, как оно выглядит.

Живое и еще раз живое, жизнь. Такова формула, без всякой хитрости. Борис не был художником видимого. Есть пружина, которая заставляет работать весь механизм. Пружина – это то, что художник видит. А видит он больше, чем обычный человек. Вернее, по-иному. Бесконечное, перетекание цвета, валеры, оттенки. Допустим, перетекание красного в зеленый. Кто-то скажет, это абсурд, и вообще, с позиций здравого смысла, непонятно, где талант, а где особенности зрения. Но факт именно таков, художник так видит. Как оно движется, как оно смешивается, как оно разграничено, какие-то почти неуловимые тонкости. Такая живопись – чистый продукт зрения. Это зрение нельзя придумать, ему нельзя научить, оно либо есть, либо нет. Отсюда берет начало сюжет, он вторичен по отношению к этому состоянию. Суриков написал боярыню Морозову, наблюдая черную ворону на белом снегу. Его подтолкнула ворона. А дальше появилась боярыня. Это имеет мало общего с литературой, с созданием литературного образа, который диктуется рассудком. В живописи нужно уметь видеть, как ни в каком другом искусстве. Рассмотреть и попытаться передать Таков *художник видения*. А есть художники, типа, условно говоря, Пикассо. Это *художник-конструктор*, сооружающий нечто. Отчасти Шагал был конструктором, хоть он и видел очень здорово.



И Борис Лекарь был больше художником конструирующим. Он по первому роду деятельности конструктор, но он начал искать себя в живописи. Он был безумно предан тому, что он делал. Но тут нужно быть не столько преданным своей профессии, сколько самому себе. Художник постоянно должен идти к себе. Какой ты есть. Это в природе художества. Можно сказать так: Я хотел бы быть другим, а у меня не выходит. И это – достоинство.

Нужно больше обращать внимание именно на себя. Задать вопрос, что мне нужно, чтобы придти к себе, а не искать где-то вне. Вообще, в искусстве нужно быть эгоистом. Нужно любить себя. Потому что кроме себя самого, никто тебя не полюбит. В искусстве много достаточно смешных и спорных вещей. Как определить хорошо или плохо? Если похоже на хорошее, значит, хорошо. А если не похоже? Как тогда? Может быть, это плохо? Да или нет? Нет таких критериев. Индивидуальность? Но и она отрицается. Появляются коллективные бригады художников, которые делают так называемый проект. Индивидуальность не современна с позиций современного искусства. Так это звучит. Ну, что из этого? Значит, приходится так жить. Это я и других, и о себе. Внешне, возможно, выглядит по разному, потому что время разное, а по сути... как вчера, так и сейчас. Значит, дело во мне, в моей природе.



Мне кажется, Борису не хватало одиночества. Он его, по-видимому, избегал, он искал общения. К тому, что он хотел найти, нужно идти очень долго. Так я, по крайней мере, понимаю. Нужно научиться переживать одиночество. Это не только защита от болезни. Чудес не бывает. Возможно, я сужу строго. Но Борис Лекарь легко узнаваем, он имеет свою среду. Значит – это разговор о состоявшемся художнике, а, если так, разговор об искусстве в целом. И, конечно, о времени. Если художник того заслуживает. Лекарь заслуживает.

Его работы не просто читаются. Сфуммато. Свечение. Туманящееся изображение. Это был его путь, его выбор. Кажется, у Фрейда есть такая формулировка: тревожащая неясность. Это и про Лекаря. Если начинать издалека, тревожащая неясность это то, что пришло в античную, мраморную Европу вместе с христианством, и несет в себе еврейское начало. Антика красивая, мажорная. Там все видно. Женщина в тунике, а под туникой можно изучать анатомию, настолько там все ясно. Культура открытая, доступная, тогда не было элитарного искусства. Неясность, смутность, сложность подачи и прочтения сюжета пришли вместе с христианством.

В чем объяснение? Античность, в отличие от христианского искусства, не признавала времени. В изобразительном искусстве время – сложное понятие, от зрителя требуется долгое смотрение и долгое прочтение. У Кандинского есть интереснейшая трактовка позднего Рембрандта. Рембрандт очень сложный для восприятия художник, его библейские сюжеты даже загадочны, не поймешь, что начинается и где кончается. Но внимательный зритель, остановившийся у его холста, спустя некоторое время начинает глазом снимать слой за слоем с живописной поверхности, проникая все глубже в изображение. Получается книга. Искусству Рембрандта свойственно временное восприятие. Христианство прижилось и дало плоды, в том числе, в изображении. Сомнение, болезненность...

Интересно развить наблюдение Ницше. Канатный плясун. – Поглядите, – замечает Ницше, – он больше похож на обезьяну, чем обезьяна сама на себя... Так же и евреи, в чем-то, в отдельных чертах они больше похожи на людей, чем люди на самих себя. Налицо

всё обыкновенно человеческое, а если сверх, немного еврейское. Грусть. Одиночество. Это свойственно всем людям. Печальность, жалостливость. Что здесь отдельного от других? Но почему-то называется еврейским. Я считаюсь еврейским художником, меня так определяют, хоть у меня нет ни одного еврейского сюжета или символа.



Так и Борис. Это начало в нем есть, и хорошо, что оно нашло непосредственное выражение в израильских работах. Внешне он был веселый человек (так это могло показаться), приглашал много народа, по крайней мере, в лучшее свое время, но и тогда что-то его внутри беспокоило. Помню, мы зашли как-то с женой. Расселись, идет живой, даже азартный разговор. Валя молчит, это в ее характере. Борис к ней несколько раз подступался. Почему она молчит? Он все время искал какое-то равновесное состояние, успокоенность, и, видно, не находил.

О Киеве и творчестве.

Не обязательно жить в городе, чтобы воспевать его. Это как-то слишком и далеко не всегда. Я киевлянин. Все, что мной нарисовано, это Киев. Милый уютный город с двориками, домиками, кривыми, провинциальными улочками. Город моей юности. Я очень люблю Киев. Не могу сказать, что я хорошо его знаю, но я его чувствую. Киев сделал из меня художника. В Киеве нет горизонта, и у меня его нет. Все, что видишь, это либо сверху вниз, либо снизу вверх. Нет силуэта города, как, например, в Петербурге.

Киев – особенный город. Может быть, из-за чиновной иерар-

хии, построенной на принципе подчинения. Этот принцип работает безотказно. Центр города вынесен на Печерск. Там живут отдельно. А сам Киев – город беглецов. Отсюда туда. Бежали всегда удачно. Неудачники – те, кто оставались. Пластилиновая ворона в Киеве была сделана. И тут же получила подножку. Не прошла. Ворона выбралась в Москву, там ее встретили с триумфом. В Санкт-Петербурге даже памятник поставили Пластилиновой вороне и ее режиссеру Александру Татарскому. Вне Киева люди становятся людьми. Они и здесь были людьми, но об этом никто не знал.

Сейчас город сильно изменился, стал многим не нравиться. Эстетические парадоксы, тяга к гигантизму, безвкусицы хватает. Сменилась власть, идеология. Сменились поколения, мы сильно изменились, как меняется человек под действием времени. Но все равно это Киев, у него свой характер.

Художественный институт расположен в изумительном месте, совершенно киевском. На Вознесенском спуске (оцените название!). С одной стороны яр, с другой яр. И там, в ярах – жизнь. Киев – это крыши. Не только Подол. Везде. Крыши, крыши. Крыши. На этих крышах я формировался, как художник. Мои композиционные приемы немного отсюда. Сам город – перетекание из яра в яр. В институте я очень много писал, в десять раз больше положенного. Тогдашний ректор Пащенко так и оценил, искал повод для исключения: – Мало того, что он так пишет, так он еще много пишет... Не один недостаток, а сразу два.

Текст приказа звучал так. Я почти буквально помню, только перевожу с украинского на русский. Левич с большим увлечением (воодушевлением) искажает людей и природу в буржуазно-формалистическом духе.

Откуда это? Ведь во времена моего студенчества мы не только самих работ, мы репродукций таких почти не видели, и слово формализм по сути с трудом представляли... только как обобщенную отрицательную величину, «чуждую», и этим все сказано. Слова я такие знал, но искусства такого не видел. Казалось бы, какое это имеет отношение ко мне? Но угадали... Потому что природа живописи не меняется. Преподавал у нас Трохименко Карпо Демьянович – хороший художник. Я писал учебную постановку – портрет старика. Он подошел, поглядел: - Ну, оцэ будэ двийка... Я: – Как? Почему? Он: – Тому що живопись – это пространство...

Очень точные слова. Я, будучи еще студентом, писал этюд, оставлял просветы. Я их не записывал. Не потому что краски не хватало. Мне нужна была структура, разбивающая мое изображение. Дерево, забор, мне нужно было дать им пространство. Из-за этого меня хотели из института исключить. Сергей Алексеевич Григорьев меня тогда спас.

И это же, много лет спустя я видел на выставке Уорхола. Уорхол – американец, там его ценят за то, что он передает характер современной Америки, создал во многом ее нынешнюю эстетику. Для меня это не главное. Но вот его работы – поверх фотографического портретного изображения хаотически нанесены красочные мазки. Масляная краска имеет объем, и изображение приобретает пространство. Это, как раз то, что сказал мне Трохименко.

В теории искусства трудно что-то доказать. Оно крайне субъективно. В литературе, музыке есть временная протяженность, у нас ее нет. Изобразительное искусство по своей природе фотографично. Фиксирующее искусство. Время для художника – субстанция недосягаемая, Фата Моргана, именно в таком качестве она присутствует. Как ее достичь? Такую задачу ставит перед собой художник, интуитивно, не теоретизируя, но она есть. Картина является не только объектом для рассмотрения, это путь, по

которому должен пройти зритель. Творец картины – не только художник, вместе с ним – зритель. Художник дает ему повод. Смотри и твори. Это общий подход, но по нему можно распознать отдельных художников, их намерения и попытку их реализации. В определениях легко запутаться. Борис употреблял это слово «духовность», и он искал, пытался ее передать, воссоздать. Соавтор Лекаря – это достаточно распространенный, очень определенный круг людей просвещенных, может быть, романтиков, с развитым литературным вкусом.

– Духовность – говорил Кандинский – вещь неопределимая... Я с ним согласен. Если я начну определять, я, во первых, запутаюсь, а, во вторых, наплету такого, в чем самому трудно разобраться. Так что не спрашивайте, а если начну отвечать – не верьте. Это сфера духа, как ее определить? Вот я читаю Вальтера Беньямина. Известный европейский культуролог и философ, закончил жизнь самоубийством во время войны, уходил от гитлеровцев из Франции и не смог преодолеть испанскую границу. Беньямин употребляет слово аура. Понятие близкое Борису Лекарю. Аура – это свечение. Но свечение не самого предмета, а того, что возникает над ним. Это свечение над холстом. Трудно иначе эту ауру определить. Потому что живопись это чисто физическое впечатление, энергия изображения. Я чувствую: живопись это или не живопись. Живопись – это Гоген, не живопись - Андрэ Руссо. Они в музее часто находятся рядом. Там где была живопись Гогена, картина начиналась за пять метров перед холстом. Я делал шаг в сторону, и картина оставалась сбоку, я возвращался и вновь оказывался в ее пространстве. Я понимаю – это недоказуемо, таково мое физическое ощущение. И в то же время несправедливо назвать Руссо мертвым. Тут еще вот что...

Красота в живописи. Красота – то, что нравится, но она обманчива. Каждый вид красоты имеет свою аудиторию. Красота есть всюду. Там одна, тут другая. Есть народные картинки. Там своя красота. Кто спорит? Я отношусь к красоте с определенным подозрением. Я до некоторой степени красоты опасаюсь, потому что я склонен. Я это знаю и слежу, чтобы у меня не получалось слишком красиво. Нынешняя красота – сфера дизайна. Упаковка. Дизайн активно использует достижения изобразительного искусства. Он

повторяет их там, где можно тиражировать. Поэтому понятие красоты стало настолько удешевленным, настолько массовым и настолько неценным. Это неценная вещь.

Все эти рассуждения можно было бы счесть отвлеченными, но вот пример. Женщина рисовала с детства. Закончила какой-то технический вуз, успешно занималась бизнесом. И сделала в Киеве выставку. Выставка любопытна (как бы это сказать?) с медицинской точки зрения. Она не овладевала искусством, она овладевала способом его показа. Разница огромна. Картины великолепно смотрятся. Я их принял за фотографии. Человек вошел в искусство, сумев его обойти. Как это получилось, я не могу понять. Покупают ее нормально. Она – бизнес-дама. Теперь это у нее основное занятие. И своя галерея есть. При большевиках ей пришлось бы трудно без всяких идеологических нестыковок, просто за нехудожественность. Хотя технически это вполне крепкая продукция.

Художество потеряло элитарность. Сейчас искусство хочет быть телевизором, привлечь к себе побольше народа. Посадить перед собой и пусть смотрят. Отсюда перформансы, презентации. Это прямой путь в широкие народные массы. Может быть, это проявление демократии. Кто может знать?. Внутри демократии жесткая конструкции, она не выглядывает наружу, она работает в интересах меньшинства. А вот художество снаружи. Термин появился: актуальное искусство, как прежде, авангард. Почему? Народ требует искусства, и он его получает по своему вкусу. Бесконечные аукционы. Народ хочет. Народ платит. И деньги немалые. В нашей киевской и в любой другой среде это принимает такие формы. Так оно и есть, таково состояние, а как будет дальше, остается только гадать. Но художник не может не работать, это способ его общения с миром. Собственным миром и тем, что вне, продуктом своего зрения.

Успех

Я не сторонник громкого успеха. Может быть, из-за того, что пережил сам. Успех может быть внезапным и не всегда кстати. Самый бесспорный мой успех был именно таким.

В шестом или седьмом классе школы. Не помню обстоятельств, по которым я прогуливал урок и дожидался перемены. В торце этажа была лестница, которая заканчивалась дверью на чердак, а перед ней – вполне комфортная для прогульщиков площадка. Там я и обретался. На белой стене была нацарапана карандашом голая баба, почти в натуральную величину, распространенное подростковое творчество. У меня был в кармане кусок угля, и я за нее взялся. Кое-что я уже умел. Я ей сделал большие мокрые глаза, волосы, волнующие детали женского тела, груди подтушевал. И когда я проложил фон, она вышла из стены. Как была, в чем мать родила. Женщин в таком виде я еще не видел, но получилось натурально. Ведь я изучал искусство. Пока она была нарисована – ерунда, но, когда появился фон, она стала живой. Началась перемена, я прошмыгнул в класс и уселся, как ни в чем не бывало, что-то дописывать. Видно, перемена была большая. Тут все и случилось. В класс заскочил возбужденный одноклассник и заорал диким голосом, буквально захлебываясь: – Пацаны, там голая баба...

Тех, кто прохлаждался рядом, как ветром сдуло. Из коридора несся мощный гул. Я выглянул. Лестничный марш на чердак был запружен волнующимся народом. Нужно помнить, что школа была мужская, объединенная, так сказать, одним интересом. Внизу безнадежно трудились директор и военрук, растаскивая хвост. Напрасные усилия. Шли плотно, как рыба на нерест. Я стоял в ужасе, мне виделся педсовет, скорбная, как некролог, запись в дневнике, несчастная мама, и несчастный я сам. Я не был хулиганом, я не был подростковым эротоманом, я был тихий законопослушный школьник. Бож-же мой! Это теперь я так вспоминаю, а тогда – даже трудно вообразить. Что теперь будет? О славе я тогда не думал. Сорок пять минут длилась это мучение. На следующей перемене я бочком подобрался к месту своего триумфа. Вокруг еще догорали страсти, народ шатался поодиночке. Но стена была пуста, уборщица веником смела изображение, а то, что осталось, затерла мокрой тряпкой. Не знаю, велось ли расследование, но меня оно не коснулось. И я был счастлив. Мой триумф остался без последствий.

О разном

Меня поддерживают книги. Я узнаю своих. Я узнаю своего в антисемите Розанове. Я перечитываю его постоянно. Синявский назвал розановские «Опавшие листья» лирической газетой. Простые внешне суждения, но они реализуются в нечто гораздо более сложное. Вот он говорит: – Мне так было хорошо в утробе матери и совсем не хотелось рождаться на свет... Это мне близко, понятно и годится для сравнения. Борис стремился на свет. Розанов не стремился, ему было и там хорошо, в утробе, в укрытии, а Борис хотел на свет. В этом проявлялось его желание действовать.

В Израиле мы встретились и даже выпивали еврейскую водку. Борис привез из Израиля серию работ, там что-то делается другое. Это израильская современность, чтобы понять, в нее нужно вжиться. Непривычным оказывается расхождение у наших киевских евреев и израильтян. Там это государственный народ с мышлением как у наших националистов. У меня есть картина с кладбищем, на нем кресты. Я эту картину видел, как еврейскую. По настроению. А они нет. Кладбище еврейское? Причем здесь кресты.

Люди в этой культуре сызмальства жили, живут сейчас, и все это естественно. Вот еду я с Игорем Губерманом к нему домой. И он меня спрашивает: – Поедем короткой дорогой или длинной?.. – Почему по длинной? – Потому что на короткой дороге можно получить камнем по стеклу... И мы поехали по длинной.

Ко всему этому нужно привыкнуть. Иерусалим - наслоение времени и наслоение ситуации. Иерусалима я не почувствовал, неудивительно за столь краткое время.

Запомнилось

Мы с Борисом тогда еще не были знакомы. Птичка в клетке. Тогда и выставок не было, но где-то я ее видел. И она мне запомнилась до сегодняшнего дня, хоть сколько лет прошло. Какая-то деликатная и точная струнка жизни. Тема никакая, но много сказано. Было какое-то значение, и объяснить его трудно. Я тогда немного позавидовал. В птичке была сложность жизни. Это больше, чем птичка. Я запомнил это ощущение.

Глазами музыканта (Валентин Сильвестров)

В Кембридже есть такое звание – почетного профессора, тоже в других университетах. Значит и у нас, в Киево-Могилянской1 академии должно быть... И мне предложили. Я сначала отказался. Как-то я себе это не представлял. Вышел на Контрактовую площадь, постоял возле памятника Григорию Сковороде, тоже могилянину. Вообразил, как он ходит по градам и весям со своей сопилкой, примитивной флейточкой. Он – не музыкант, знает две ноты и играет на них. Ему музыка нужна, чтобы слушать себя, чтобы разговаривать, чтобы опомниться в нашей непростой жизни. Вокруг – житейское море, как тогда, так и сейчас. Стихия. А посреди – такой вот одинокий философ, и его альма матер – Киевско-Могилянская академия. Тогдашняя или нынешняя, расстановка та же. Стихия непредсказуема, но с ней нужно жить, уметь в ней находиться. Осушать не получится, образуется либо болото, либо выжженная засоленная пустыня. Значит, нужно вот так выходить с дудочкой, с тем, что есть. В общем, я подумал и согласился.

Как музыкант я больше связан со словом. С классикой, с современной поэзией. Я дружил с Геннадием Айги, у меня есть сочинение на его тексты. Люблю раннего Бродского, к позднему отношусь спокойно. Живопись от меня дальше, чем поэзия, но у меня были друзья художники: Григорий Гавриленко, Валерий Ламах, Анатолий Лимарев. Гавриленко был близким другом, одним из самых близких. Все они интересовались музыкой и были художниками самого современного склада. Они чему-то меня научили. И среди них Борис Лекарь.

Я уже не помню, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились. Наверно, посещал мои концерты. Примерно в семьдесят восьмом году он сделал мой портрет. Я не позировал, впервые этот портрет увидел на выставке Бориса в Доме Архитектора. Он, видимо, был знаком с Игорем Блажковым – дирижером, который

исполнял в филармонии мое сочинение – кантату на стихи Тютчева и Блока для сопрано и камерного оркестра. На портрете есть нотная строчка из этой кантаты. Она сбоку, не бросается в глаза, по виду, что-то вроде орнамента.

С того времени мы поддерживали дружеские отношения. Он к нам приходил, слушал музыку, дарил мне свои акварели. Они и сейчас на том же месте. Тихие, бледные. Киевские этюды, белые на белом.

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит.
В неизмеримость темных волн.

Федор Тютчев

Болотистым пустынным лугом
Летим. Одни.
Вон, точно карты, полукругом
Расходятся огни.

Гадай, дитя, по картам ночи,
Где твой маяк.
Еще смелей нам хлынет в очи
Неотвратимый мрак

Александр Блок

В разговоре о Борисе поэтический текст к месту, он был восприимчив к слову к музыке. Это, мне кажется, нечто объясняет. В каком-то смысле его творчество можно поставить на границе жанров. Борис запоминается, у него есть лицо, а в эпоху переизбытка информации это явление нечастое. И в поэзии, и в музыке. Технологический уровень сильно вырос. Все всё умеют, а вот сказать что-то свое, далеко не у каждого получается. Пусть будут просчеты, но свои. Это гораздо важнее, чем общеизвестная безликость, даже удачно выполненная. Как бы точно выразиться... в работах Бориса совершенно отчетливо присутствует метафизическое вещество. Это особая сугубо личностная субстанция, и у него она есть. Борис Лекарь очень поэтичен. Художники в то время, когда он становился на ноги, поэзию изгоняли. Помните суровый стиль. Считалось прогрессом, в каком-то смысле антитезой лакированному соцреализму, название «суровый» говорит само за себя. Но на поэзии, особенно лирической, это отзывалось не лучшим образом.

Творчество художника Лекаря интересно сравнить с наследием Чюрлениса. Переложение музыки на живопись. Нет конкретики, изгоняется сюжет, при том, что Черленис явно литературен. Художникам его музыка нравится, музыкантам наоборот – музыка не очень, а картины замечательные. Одно время было буквально паломничество к Чюрленису. Я, как музыкант, понимаю, недостатки в его музыке, для меня, он, как художник, выше, чем музыкант. Но это для меня. На самом деле, достоинства есть и художнические, и музыкальные, потому что он – явление само в себе, творческий медиатор. Поэтому к нему и обращались...
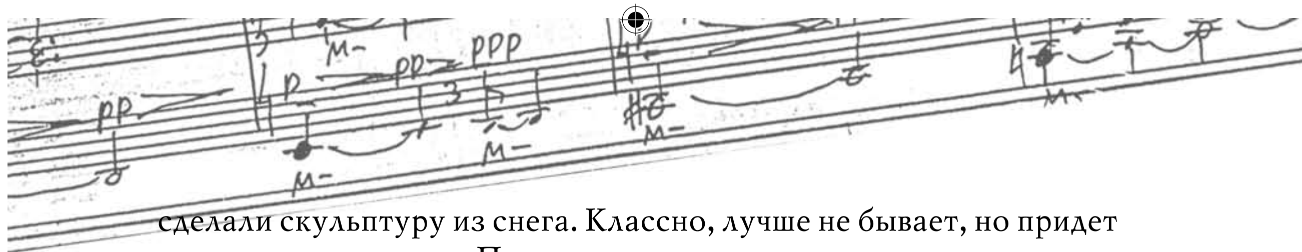
И творчество Бориса, как мне кажется, нужно так рассматривать, на стыке визуального искусства и чего-то еще... Другое дело, как это что-то определить. Я думаю, как поэзию за пределами сугубо изобразительного решения. Она реально ощущается. У него и подход соответствующий, если оценить во времени: постоянное развитие, движение, поиск. Нет товарности, желания приспособить себя к чему-либо. Он сознательно избегает сделанности, глянцевой обложки. То, что есть, его сугубо личностное отношение, что определяет поэтический настрой, и вместе с ним – метафизику, состояние души.

Как музыканту, мне его картины нравятся. Подчеркиваю, не просто, как зрителю, а как музыканту. От них можно оттолкнуться в собственном мироощущении. В Андреевской церкви пианист Николай Сук устраивал концерты. Сейчас он в Америке, церковь на ремонте, Андреевский спуск перекопан и перепахан до неузнаваемости. Другое время. А тогда были концерты, показывали малые формы. И, я помню, на этих концертах выставляли портреты Бориса в светящейся манере. Портреты Баха, Моцарта. И они дополняли, иллюстрировали музыку.

В музыке есть такое понятие – багатель. Оно имеет концептуальное значение и позволяет приблизиться к пониманию природы творчества. Багатель – музыкальный момент. Здесь можно привести сравнение из области живописи. Шарден – большой художник, а сюжеты его картин, вроде бы, незначительные. И это после Пуссена, с его грандиозной мифологией, в эпоху расцвета классицизма, больших форм. Багатель – вроде бы, чепуха, а на самом деле в

ней заключен свой особенный смысл. Такой же, как в малой живописной форме, не по внешним признакам, а по существу. Эскизы могут быть более значительны, чем законченное произведения, для которого они написаны. Эскизы Александра Иванова к «Явлению Христа народу» более выразительны, чем сама картина. Так, по крайней мере, утверждают знатоки. В багатели схвачено мгновение. Потом это мгновение художник может утопить, растворить в мастерстве, но изначально творческий процесс, особенно в музыке, связан с мгновенным. Если багательность исчезает, музыка гаснет, что-то переходит в ничто, бытие в небытие. Бытие – основа для роста, причем не постепенно, а скачком. Можно без этого обойтись? Можно. Тогда начинаются рассуждения о концепции, делятся замыслами, умозрительными догадками. Багатель все это решает. Если есть скачок, то есть где поживиться и концепции. Она получает крылья. По сути это и есть знак вдохновения. Мгновенность. Но если багательность исчезает, начинается бедствие. В музыке это хорошо чувствуется. Начинается придуманность. Культура лишается доступа к мгновению, возникает странность, желание организовать явление, придать ему значительность, сделать его побольше. Его надувают и оценивают со знаком качества. Вопрос, однако, что там внутри…

Это скорее нужно прочувствовать, а потом уже понять. Прямо этого не объяснить, ведь масштабность, крупные формы говорят сами за себя. Здесь нужен личный опыт. У меня был такой опыт в Германии. Хозяева-музыканты уехали, и я месяц жил в их пустой квартире, слушал современную музыку. Штокгаузен. Булез. Наслушался вполне. Как-то просматривал диски, вытащил… Сен-Санс. В детстве мне нравились несколько его популярных произведений. «Лебедь», известнейшая пьеса. Хорошее исполнение. Казалось бы, маленький лебедь, ни на что не претендует. И вот, всё то великое и значительное, что я наслушался, как ветром сдуло. Комар и слон. Но комар живой, а слон мертвый. Слон намного больше, но он мертвый. А комар живой. Хоть он и комар. Я подумал: Сен-Санс. Удачная мелодия. Музыканты по-разному к ней относятся, но помнят все равно. Не потому, что Сен-Санс лучше, но там есть вот эта проблема – первого скачка. Ее нельзя ничем заменить. Ни глубокомысленной философией, ни мастерством. Вы



сделали скульптуру из снега. Классно, лучше не бывает, но придет весна, и она растает. Потому что она не сущностная, а вот этот, промелькнувший миг сохранится.

И вот, обратите внимание, живопись Бориса Лекаря не тает. И проницательные люди это понимали. Гриша Гавриленко так понимал. Он чувствовал в Борисе эту направленность, смысл его поисков. И мне художник Лекарь этим близок. У меня есть большой цикл. Тихие песни. Сменилась эпоха, назовем ее: после Шостаковича. Симфоническое удвоение драмы жизненной, социальной. Кульминация, проклятия симфонические. Тогда за это можно было схлопотать большие неприятности. И вот, мне кажется, наступила тишина. Появилась потребность в лирической поэзии, ее не хватало. Аллюзией к моим тихим песням было обращение к Францу Шуберту, к его знаменитому циклу Зимний путь. Персонажем зимнего пути является сам Шуберт Его романтический герой. Там преобладают очень печальные элегические песни. Моим персонажем, в отличие от Шуберта, была лирическая поэзия, стихи-родственники. Двадцать четыре песни. Начиналось с Евгения Баратынского, заканчивалось Василием Жуковским. Был текст Тараса Шевченко Прощай світе, прощай земле, Осипа Мандельштама. И Моцарт на воде и Шуберт в птичьем гаме... В основном, русская поэзия, дополненная украинским и английским (Джона Китса) текстами. Цикл для голоса и фортепьяно, как у Шуберта.

Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть.
Е. Баратынский

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.
В. Жуковский

Это не романсы. Хотя и там формы музыкальные под фортепьяно, но стихотворение в романсе как бы разрушается, композитор интерпретирует, растворяет текст и выводит музыкальную форму на первый план. А здесь, в песнях музыка сохраняет ритмику самого стиха. Это является для меня принципиальным.

Цикл исполняли в Киеве, в Москве, есть диски с записью. У Тихих песен были сторонники и противники. Борис Лекарь был сторонник, но он – любитель, дилетант. Сторонником был Альфред Шнитке, противником – Эдисон Денисов. Он мне говорил: – Валя, ты из ничего хочешь сделать что-то. Но это невозможно... Но ведь Бог создал мир из ничего. Конечно, не нужно брать на себя лишнего, но логика у меня есть. Музыка из ничего и живопись из ничего, если есть эта искорка Божия, от нее и сам акт Творения.

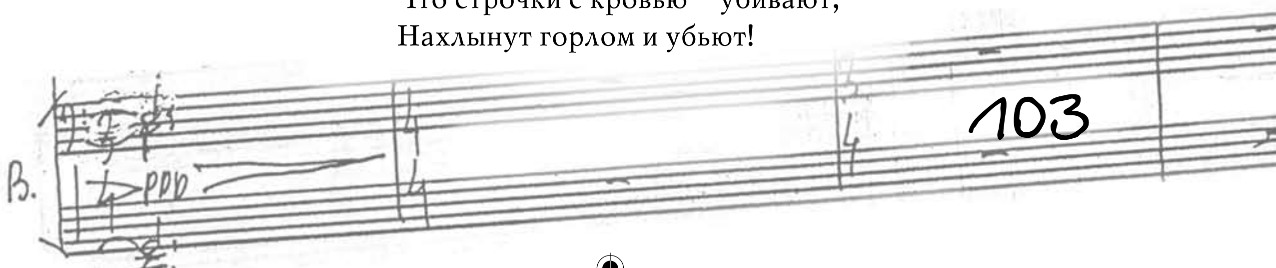
Любой текст, как живой человек, требует к себе доверия. Это проблема в искусстве. Без доверия мы либо подчиняемся авторитету, либо пропускаем текст мимо, не вникая. Особенно, когда имеем дело с чем-то непохожим, внешне малозаметным. Без доверия не получится должного восприятия. Любой самый гениальный текст можно раскритиковать в пух и прах. Только кого критиковать? Самого себя. Если текст выслушан с доверием, он сам себя покритикует. Он проявит свои достоинства и поможет простить недостатки, как мы прощаем их конкретному человеку.

Поэтому нужно вслушиваться и не дергать ногой. Не перебивать, настроиться на понимание, как слушают ребенка. Или того хуже. Слушают не текст, а следят, как губы шевелятся. А на текст не реагируют. Слушают, но не слышат, смотрят, но не видит. Потеря внимания часто связана с приверженностью к определенному стилю. И наоборот, сам стиль может быть чужд, но при внимательном отношении суть доходит. Не нужно спешить критиковать, понимание приходит не сразу, требует усилий. А иначе, пустая трата времени. Если худо-бедно попался, сумей прояснить ситуацию до конца. Поль Валери говорил: произведений неудачных не существует. Просто чего-то не хватило, то ли сил, то ли времени. Но в любом произведение есть содержательный момент, ради которого оно началось, есть искорка, которая должна зажечь своего слушателя или зрителя. Без этого понимания и желания соучаствовать, лучше не тратить зря времени.

Израильские работы Бориса, мне кажется, стоит рассматривать особо. Размышления о вечности. Погруженность в особое состояние, первопричинные формы. Мгновение – категория метафизическая, это знак вечности. Хоть оно неуловимо по размерам. То, что в этих картинах Израиль, понятно, а с другой стороны, проявляется состояние души, связанное с депрессией. Депрессия – это не про-

сто болезнь. Это особое видение пустотности мира, сложный метафизический опыт, нередко трагический. Я был знаком с Яковом Семеновичем Друскиным – богословом, философом, математиком и музыкантом. За всем этим – два факультета петербургского университетского образования и консерватория. А работал учителем математики в школе. В страшное время войны и репрессий спас архив обэриутов. Сейчас трудно в это поверить, но без него мы бы не узнали ни А. Введенского, ни А. Олейникова, и Даниила Хармса почти бы не знали. Он входил в их кружок чинарей, так они себя звали, в черное время забрал чемодан с рукописями из опустевшей квартиры и сохранил. Одна из богословских идей Якова Друскина такова: Бог творит мир из ничего, и содержательность (чтойность) находится не в самом творении, а остается у Бога. То есть, как инструмент для жизни, эта чтойность находится у субъекта, но ему она не принадлежит. Странная, на первый взгляд, гипотеза, но в народном сознании она укоренена. Отдал Богу душу. Умирая, ты возвращаешь эту чтойность. Ты владеешь ей временно. Переживание депрессии – это переживание пустотности мира и ужас, ощущение душевной утраты. Люди, философски мыслящие, знают об этом, но знают умозрительно. Знают, но не переживают это состояние. Мы разговариваем, судим об этом, и ничего страшного. А если представить, что человек существует с этим постоянно, что это и есть реальность его жизни, не просто болезнь, а присутствие или ожидание этой пустотности. Она тянет за собой, она опасна, но она же эвристична, потому что из последующего наполнения пустоты художник черпает свои творческие находки, открытия. Он поднимается из этой пустоты, ему есть чем ее заполнять. Он спешит, у него все получается… Мощный сильный источник приобщения к жизни заново. Так это происходит, раз за разом, пока однажды маятник не качнется назад. Если бы только качнулся, кажется, всего лишь усилия, выдержки не хватило… Но это со стороны… Как передать это душевное состояние, найти его эквивалент? Можно привести строки Бориса Пастернака.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют.
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!





В разной степени это имеет отношение к творчеству. Люди мирских профессий это чувствуют – опасность творческой судьбы. Когда я стал заниматься музыкой, отец отговаривал: выучись, стань инженером, стано кем-нибудь, а уже после... Притом, что

был необычайно музыкален, на любых инструментах играл по слуху. То есть люди сознают драматизм нашей профессии. И правильно сознают. В житейском море...

Композитор – явление штучное и очень рискованное. Народ не понимает. Как-то Шостакович зашел вечером в Гастроном, и там ему предложили. Третьим будешь?.. Он согласился. Выпили, стали знакомиться. Один – работяга, другой – бухгалтер. – А ты?... – Композитор… – Как это? Ну, ладно, не хочешь, не говори…

Это, так сказать, природное явление. А бывает иначе. Где-то в конце шестидесятых годов был Пленум молодых композиторов Украины. С размахом, с массой приглашенных. Прошла музыкальная часть. Филармонический оркестр. Среди прочего, мое сочинение исполняли. Потом все сошлись, расселись, кто в зале, кто в президиуме и началось обсуждение. Как раз это было после событий в Чехословакии, что сыграло свою роковую роль. Взял слово какой-то дед из Белоруссии, композитор-фольклорист, но не простой дед, а член ЦК. Нормальный человек, ничего плохого не могу сказать, вот только в современной музыке не ориентировался. И, как положено, заполнил свое невежество идеологией. Начал байку издалека. Побывал он в Чехословакии и смотрел музыку местных композиторов. У них там расцвет модернизма, и ноты у них как… Головки, вроде, наши, а хвостики глядят в сторону ФРГ… Не в ту сторону…

Тут Игорь Блажков с места, причем, как нарочно, грубым голосом: – Заканчивайте доклад…

Что тут скажешь? Очень некстати … Пошла кутерьма. Уважаемого человека, заслуженного гостя… Кто посмел? Игорь вышел, извинился. Хотел быстрее перейти к творческому обсуждению, услышать профессиональный разговор… Ясно, что оставить без последствий было нельзя. Политика партии. Кто за то, чтобы удалить из зала?.. Треть рук поднялось… Значит, единогласно. Блажков вышел, еще несколько человек, из солидарности, те, кто рядом сидел. И я среди них.

Пошли разборки, отговорки... В туалет захотелось... Пошел маму встретить… Не помогло. Исключили из Союза на год, а продержали два с половиной. Я писал письма, просил поддержки у лауреатов Ленинской премии. Шостакович ответил на следующий

день, и начал так: Извините, что так долго не отвечал... С Хачатуряном встретились на каком-то музыкальном действии. Он выждал, чтобы наше начальство обратило внимание, и стал обнимать. Тогда это выглядело серьезно, неизвестно было, чем кончится. В общем, вернули меня в Союз. Я как-то уже в новые времена встретил Софью Губайдуллину на музыкальном фестивале в Амстердаме. – Думали ли мы, Сонечка, что когда-то начнут выпускать?.. – Думать думали, но только ни с места, а, кто не думал, те и тогда ездили.

С Борисом мы больше говорили о серьезном. Он хорошо понимал. внутреннюю связь, природу явлений. Последний раз встретились, он приехал из Израиля, и я преподнес ему городскую легенду, то ли правду, то ли нет. Его металлическую скульптуру – журавля в сквере на Обсерваторной надумали сносить, автор за границей, а руки чешутся. Но пьющие люди отстояли. Бутылки об этого журавля было удобно открывать. Борис развеселился, его это искренне обрадовало. Это как бы дополнительная характеристика, непридуманная, неожиданная, а непридуманность в искусстве дорогого стоит. Кажется, простые вещи, а заставляют задуматься.

У меня есть несколько вариантов Горных вершин. Для хора а-капелло. Я сам напел. Когда пропеваешь, музыка раскрывает тайну текста. И я совершенно точно ощутил: стихотворение совпадает с обликом и судьбой Бориса Лекаря.

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

[Борису Лекарю.... в память] 1

„Горные вершины" (2010) (сл. М. Лермонтова)

(для хора a'capella)

В. Сильвестров

Adagio (♩=52)

S.

A.

T.

Bariton (solo) (из хора)

B.

Горные верши-ны спят во тьме ноч-

x) (A → M) постепенно закрыть рот, не прерывая звука.

2

S.

A.

T.

Bar. (solo)

B.

-ной, тихие до-лины полны свежей мглой... не пылит до-ро-га, не дрожат лис-

S.

A.

T.

Bar. (Solo)

ты, по-дожди немно-го, от-дох-нёшь и ты...

B.

4

S.

A.

T.

B.

S.
A.
T.
B.

(leggiero)

rit

Fine

Разглядывая альбом Бориса Лекаря (Юлий Шейнис)

Борис Лекарь вошел в творческий процесс в конце шестидесятых годов, когда начал публично реализовывать себя киевский андерграунд. Это видно по датам, обозначенным в альбоме, даты позволяют проследить хронологию. От реалистического вещного мира в изображении художник приходит к *концепции*, так она теперь называется. Концепция – вопрос не темы изображения, а метода, способа подачи себя. Сейчас эта позиция признается единственно правильной, а тогда художники сами назначали себя на эту роль. Это был вопрос их выбора. Притом, что Борины акварели, его пейзажи, адекватно передают его отношение к среде, к природному миру. Не просто легко, а с удовольствием и без усилий. Пейзажи, акварельные этюды, сама работа с материалом хорошо видны: нет затирух, мытья, мучений, все это важно для акварели. Это значит, художник легко владеет техникой передачи изображения, ему доступно то, что он хочет выразить.

Но под влиянием новых веяний Борис начинает переходить к обозначению себя, как концептуалиста, его заботит не передача видимого мира, а выражение отношения к нему через собственную разработанную технологию. Этот подход со временем становится общим критерием оценки, каков художник. Не что он рисует, а как он это делает.

Натурные работы Бориса Лекаря просто замечательны. По колориту, по состоянию. Пейзаж без лиризма не живет, тем более акварель – материал изящный и легкий. Изображение с его помощью пространства, тем более большого пространства, это только лирика и больше ничего. То ли патетическая, то ли сентиментальная, это не важно, важно, что она есть.

И тут начинаются трудности перехода. Хорошая акварель это – творчество, но творчество камерное. Перейти от естественной камерности к концепции трудно, от чего-то нужно отказаться. Либо от камерности, либо от старой техники, и от сюжета, само собой. Как от этого отказаться? Только найдя какую-то концепцию, ко-

торая могла бы отличить и приподнять художника, сделать его однозначно узнаваемым.

В старых пределах художнику становится тесно, тем более ситуация вокруг накаляется, концептуальный подход все сильнее обозначает себя, становится творческой идеологией. Нужно реагировать. Куда идти? В какую сторону? Художник Лекарь движется в сторону отказа от натуры, предметного рисования. Как он это делает? В общем виде так. Попав в прямоугольник изображения, объект обозначает себя цветом, все остальное уходит. Это концепция. Прочесть такую работу можно только с помощью названия. Художник подписывает работу *Встреча с вечностью*, но сам объект в ней практически отсутствует. Так он, с одной стороны, поднимается над натуральностью, с другой, создает сложности для восприятия, помогая преодолеть их с помощью названия. Это критический момент, однако, это и позиция.

Вот такое название. *Приморская долина*. Каким образом, глядя на изображение, имеющее золотисто-охристый колорит, можно определить, что это долина и она приморская? В изображении отсутствует необходимая мера узнавания. А что главное? Совершенно субъективный выбор художника, который названием направляет зрителя, подсказывает ему, как нужно смотреть. Это прием рациональный, предлагаемое изображение требует поясняющего и направляющего названия. Название абсолютно конкретно. Мы начинаем всматриваться. Действительно, можно узнать (вернее, догадаться), это море, а то, что на переднем плане – берег.

Концепция, как творческая идеология, перегружена предположениями, игрой воображения. Но что в самом изображении? Можно объяснить так: оно рассчитано на людей с развитым интеллектом, которые способны, получив от художника импульс, сказать: вот, действительно, я вижу море, я вижу приморское пространство, я вижу огромное небо… очевидно, это раннее утро, еще до восхода солнца… Хотя нет (еще раз присмотревшись), судя по теплому колориту, это скорее вечер, когда солнце село. Отблески теплого дня являют нам призрачное состояние… Мы говорим, художник нашел способ минимальными средствами передать состояние в соответствии с уровнем своего настроения, видения. Что еще нужно? Нужна аудитория, которая это примет. Аудитория

принадлежит художнику, а он принадлежит ей, восприятие становится уделом избранных. Художник создает для себя определенный круг зрителей и устанавливает с ними контакт через свое творчество. Они принимают и возвращают ему сигнал.

Иерусалимское кладбище. Отличается от *приморской долины* только цветом прямоугольника. Там золотисто охристый, здесь серовато-беловато-розоватый. Все остальное призрачно. Сказать что это поэзия? В поэзии есть слово, и мы, идя за словом, пытаемся воссоздать образ, который в этом слове расслышан. Здесь роль слова играет форма. Да, возможно, художник отталкивался от вида, скажем, иерусалимского кладбища, но в самом изображении, добиваясь цельности формы, он оставляет только цвет. В этом колорите может быть кладбище, поле битвы, вид с Монблана вниз сквозь туман. Налицо рациональность мышления, управление своим чувствованием. Чувствование скорее сентиментально, может быть, даже болезненно, но художник им управляет. Ищет рациональное начало. Знак. Таков Борис Лекарь. Он вне нашей критики, потому что художник самим фактом своего существования приподнят, требует почтения. Он творит. А воспринимаем мы или нет – это зависит от нашего уровня чувствования. Сам факт творчества, дает ему право. Качество? Оно (как бы это сказать) в растворенном состоянии. В цельном виде оно значится в посыле названия. А в самом изображении главное – манера исполнения: насколько художник тянет акварель от светлого к темному, от холодного к теплому, и какой колорит он закладывает в свое пространство.

Так он подошел к концепции изображения почти ничего, минимума, но с тем, чтобы изображение, как таковое, оставалось, сохраняя при этом высокое качество цвета. А как оно относится к названию? Интересно? По своему, да. Кто-то скажет, что он вынимает из изображения слишком много. Но это и есть рациональность. Художник сознательно отбирает все, что могло бы вернуть его и зрителя к конкретному изображению. А то, что он сохраняет, узнается по названию. Вот оно. Иерусалимское кладбище. Кто будет в Иерусалиме, и пойдет на кладбище, он его увидит. И художник Лекарь его увидел и изобразил. И оставил свое рассудочно прочувственное отношение к этому месту. Только за счет цвета. С



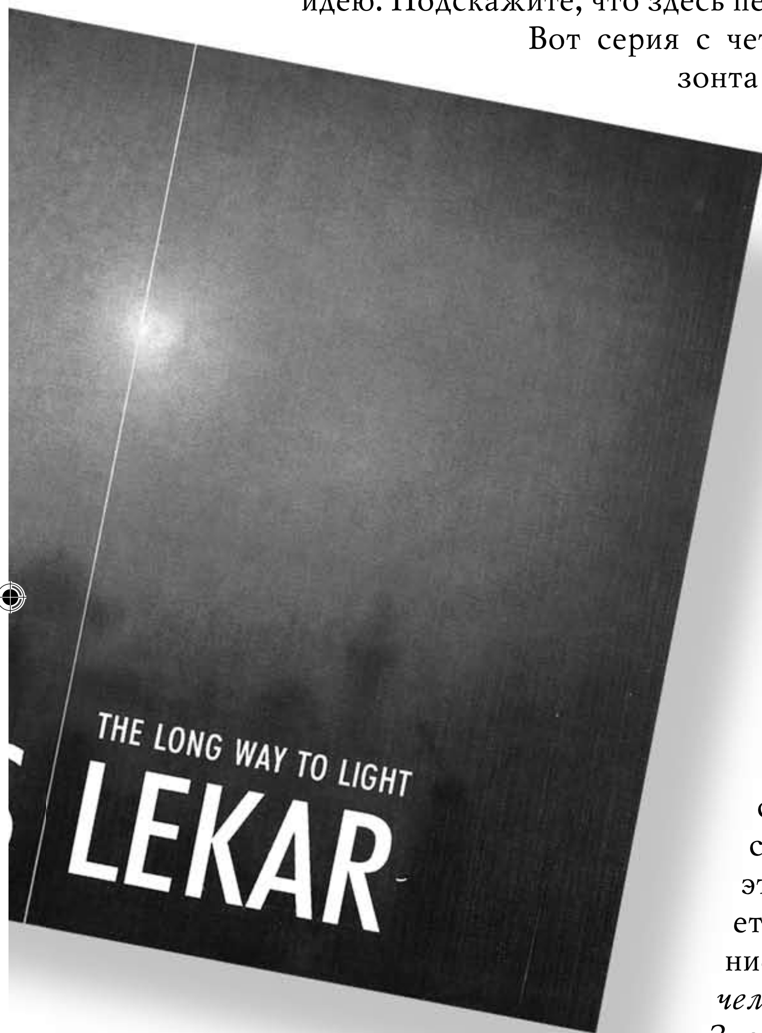
белым, чуть лиловатым. Это игра, серьезная игра. Это формальные поиски художника, который не заботится особо об узнаваемости изображения. Задача другая, похожая на задачу математика, который ушел со своими формулами далеко вперед, так далеко, что никто за ним не пойдет, не сможет. Но этот, идущий наслаждается созданием найденной формулы. И ищет следующую. Она еще более изысканна и более проста, и еще дальше от возможности ее прочесть. Это чувственно рациональное творчество.

Есть виртуозная акварельная тонкость, сближенная и одновременно растянутая тональность. С какой-нибудь светящейся сеточкой, сгущением и разрежением светового эффекта. Так и называется *Композиция*. Насчет вечности или мгновения?... вряд ли художнику трудно далось название. Понятия вечности, бесконечности, мгновения лежат на поверхности, не одно, так другое, ведь вечность состоит из мгновений. Здесь мы начинаем блуждать, угадывать, думать о том, чего нет, или что, вроде бы, есть. Главное,

что может это блуждание прояснить – задача, которую художник перед собой поставил, решение изобразительного пространства. Акварель – его эмоциональный настрой. Некая призрачность. Она присутствует во всех работах, кроме тех, которые он писал с натуры. Там призрачность мешает видимой реальности и реальность побеждает. Но когда он уходит от нее, создав свой концептуальный мир, призрачность становится главной, как тема, как собственная узнаваемая манера. Название предназначено для зрителя, чтобы легче было смотреть. Название – способ общения, и, вместе с тем, использование свойств человеческого мышления. Как только художник обращается к определенным темам или явлениям, он вынужден о них что-то сказать, чтобы их можно было опознать. Это естественный процесс, обойти его невозможно, он есть в любой абстракции. Он может быть спрятан, он может стать неузнаваемым путем многократного удаления от объекта, но он есть. Это человеческое свойство, от него некуда деться. Так и в работах художника Лекаря (кстати, хорошее доказательство теории концептуализма): реализм из названия перетекает в изображение, открывая дорогу чувствованию, эмоциональному переживанию, воспоминанию. Что-то обязательно сра-



батывает. Приморская долина... Кладбище... Вечность... В этом состоятельность подхода (концепции) Бориса Лекаря. Он нашел убеждающие средства, связавшие художественную форму и ее идею. Подскажите, что здесь первично...



Вот серия с четкими рассечениями горизонта вертикалью. Художник (по образованию – архитектор) подчеркивает свой рационализм, возвращается к теме симметрии. И, как человек научный, этими линиями показывает. Есть симметрия. Получите сигнал... Симметрия в танце... Умно? Умно. Нужно? Решайте сами. Главное, ему это нужно. Потому что это Борис Лекарь. Он так рассуждает.

Это общая формула, она объединяет все. Он рисует портреты. Печальное сфуммато, печальная среда, это его язык. Он не воссоздает образ, он передает состояние. *Воспоминания о Боттичелли*. Или модель с Венерой. Знакомый, узнаваемый образ, но художник обозначает его призрачно, создает цветовое и тоновое пространство, где изображение не имеет источника освещения, а представлено как некий светящийся объект. Точно также он рисует портреты своих знакомых. Реалистической характеристики образа там нет, потому что он концептуалист, для

него главное, не *кто*, а *как*. И он добивается результата, запоминаемости, интереса к себе, создания собственной среды, собственной ауры, сходной с аурой в его изображении. Можно сказать, он перенимает ауру у своих персонажей.

Вот триптих с Иисусом. Крайний случай. Зрители сами вспомнят про Христа, про Марию... Они знают сюжет, многие – не хуже самого художника. Но узнают ли они его здесь? Художнику важно, что знает он сам. Остальные подтянутся. Он ничего зрителю не рассказывает. Он дает посыл. А дальше смотрите сами. Он передает свое состояние. Для него состояние призрачности главное, он его передает. И образ Христа является ему таким. Не картина, а образ, близкий по восприятию к каноническому изображению, к иконе. Но образ авторский, в состоянии неясности, неустойчивости, возведенной в ореол. Почему так? Он так рисует. Это не только художническое дарование, это собственный характер. Впрочем, одного не бывает без другого...

Есть такое слово: *мистика*. Годится здесь для примерки, но только на первый взгляд. Кажется, есть общее начало. Однако, у художника Бориса Лекаря гораздо больше рационального, чем мистики. Его мистика (оставим это слово для дальнейшего употребления) декоративна за счет призрачности исполнения, за счет манеры. Это не одно и тоже. Мистика предполагает явление образов иррациональных, невозможных по сути, но иллюзорных вплоть до формального совпадения с реальностью. Тогда мы, отчаявшись опознать непознаваемое, говорим: тут какая-то мистика. А здесь исполненная технологически призрачность самого состояния изображения, пусть даже, по воле автора, погруженного в вечность или бездну (смотри названия работ), а дальше... особенности нашего восприятия. Кто-то видит мистику. Остальные просто уважают и соглашаются. Не все слова соответствуют тому, что мы наблюдаем в изображении. Хоть слова знакомые. Мы пользуемся ими. Они неточны. И эта неточность создает художественный образ. По крайней мере, способствует ему. Это и есть эффект концепции, увидеть в изображении то, что хочет от зрителя художник.

Что притягивает сильно и буквально магнетически – это какая-то грусть. Она обозначает себя, возможно, против воли художни-

ка. В название он вкладывает серьезные проблемы, а когда, не думая о названии, возвращается к самому процессу творчества, эта призрачная грусть укрывает все. В каком-то смысле разгадка – серия про одиноких животных. То, что в прямоугольнике изображения остается призрачной средой, здесь в одиноких животных как бы проступает и обозначает себя полностью. Само одинокое животное, как тема, это признак грусти уже тем, что оно одиноко. Одинокий человек – это все-таки человек. Одинокое животное – дважды одиноко, оно еще и брошено. И художник ведет эту серию, он в ней живет, ее повторяет. И переходя к посуде, которую он тоже любит рисовать, он передает ее так же. Эта посуда беседует между собой. Ночные разговоры, беседы, шорохи, потаенное состояние, когда нет внешних воздействий, шума… Чайничек, чашечка. Минимализм – это концепция, а призрачная печаль – это состояние. Все вместе – Борис Лекарь. Он нашел свой образ. Он нашел свою позицию, вектор, можно сказать, свой голос. Сказать, голос слабый – нет, сильный – тоже не скажешь. Для концепции, в принципе, это не главное, здесь другое измерение. Главное, он совершенно узнаваем и подключает нас к рассказу, к диалогу (кто из нас, зрителей на что способен).

Самое откровенное – это слоник. В каком-то смысле, это код самого автора. Среда внешне очень яркая. Красный, оранжевый, голубой. Но в ней действует слоник. Самое могучее животное. Самое сильное. Самое умное (кроме обезьяны, от которой мы все произошли). Слон. Ого! А это слоник. Нечто, что должно и могло быть большим, остается маленьким. И от этого беспомощным и одиноким. Что он по сравнению с фруктами, рядом с которыми изображен? Слоник-мушка. Для зрителя, не желающего задуматься всерьез, это очень мило, но если зацепить глубже – это печаль. При самых ярких красках. Слоник на фрукте хоботом до звездочки достает. Что может быть более сентиментально-романтичным и беспомощным, когда, стоя на фрукте, слоник с размером с мушку, достает до звездочки? Состояние детской души, которой кажется, все, что она видит, можно достать рукой. Мультфильмовский персонаж. Слоник хочет прыгать и радоваться, а у него полно огорчений. Хвостик зацепился, пчела укусила. То, что должно было быть большим, остается маленьким. В своем бесконечном уменьшении:

меньше банана, апельсина, два лимона – какой-то космический ужас. Два желтых лимона и слоник между ними. Художник не задумывался, он ощущал это в себе. Одно дело изобразить Христа, другое – эту зверушку. С Христом художник – философ. А здесь? Умиление слоником. Очень ранимая и очень трепетная душа. Она же и создала творческую харизму, по которой мы узнаем. Это Борис Лекарь.

Художник ценен самим фактом своего существования. Своего творчества. Фокус в том, что подобрать масштаб для оценки концептуалиста не удается. Что общего между Микельанджело и Боттичелли в смысле манеры, видения мира? Ничего. Но в то же время они открыты для сравнения, потому что они видят мир фигуративно и могут передать свое видение. Разные по характеру творчества, они одинаковы по шкале сравнения. Но в концептуальном творчестве этот фактор отпадает, потому что нет единой схемы узнавания. Остается только концепция. Каждый на своем одиноком острове. Островов много, моря не хватает. Именно в этом одиночестве купается современное искусство. Раньше об этом не думали, художники были схожи по сути. А в новейшее время быть непохожим – это программа. Это обдуманная, осознанная необходимость, чтобы быть узнаваемым, выделенным из общего творческого процесса. Буквально, любой ценой. Невероятных скандалов. Экстравагантных и прочих поступков, придуманных историй. Раньше работало только качество изображения, сейчас работает все.

Такой характер принимают рассуждения, если мы долго стоим возле картины. Обсуждаем. Главное здесь – концепция под названием *Борис Лекарь*. Кому-то нравится, кому-то нет. Это не суть важно. Это личное дело. Важно, что сам художник попадает в зону приятия или неприятия, в рынке или вне его, потому что искусство без рынка не существует. Оно только там. Для того, чтобы художник существовал, ему нужно есть, согревать тело. Это он может получить только творчеством. И он должен найти в творчестве дверцу, за которой ему смогут оказать помощь. Если не смогут, он пропадет. Он предлагает себя и при этом не очень кривит душой. Он предлагает себя в надежде, что его поймут. В надежде на то восприятие, на ту среду, которая его примет. Это

проблемы художника, больше ничьи. Найдет свою дверцу, приоткроет или распахнет, ворвется или протиснется – он состоялся. А иначе, нет его. Борис Лекарь состоялся, он нашел свою среду.







Впечатление таково, что художник Борис Лекарь хотел остаться нераскрытым, хоть постоянно давал нам подсказки. Пока он не влился в концептуализм, не стал его частью, он сохранял возможность остаться просто художником, Но обыкновенность его не устраивала, его интеллект преодолевал границы обыденности. Он искал. Как в таком призрачном пространстве искать? Как тут можно найти? Значит, у него были серьезные амбиции. И творческое мужество. То, с чем он столкнулся, оказалось большим, чем он смог преодолеть. Даже при том успехе, который он имел. Это не только устройство психики. Там само собой. Конфликт – это не только болезнь. Болезнью называет ее обыватель. Так легче объяснить поведение, поступок. И наука стоит на этой срединной позиции. Так удобнее. Так в учебнике можно описать.

Творческая натура, как правило, избыточна. Многие этого свойства вообще не испытывают (и неплохо при этом живут), а есть художники, которые борются, страдают всерьез и не могут побороть. Не могут преодолеть шторм и найти тихую гавань. Они не для этого созданы. Искусство вечно.... Душевное состояние Бориса Лекаря

– художника-концептуалиста читается гораздо лучше, чем если бы он писал с натуры и любовался визуальной картиной. Это задевает, волнует зрителя. Это зрителю передается. И в этом тоже причина творческого успеха. В душевном смятении художника.

Альбом лучше и полнее, чем экспозиция, выстраивает и подсказывает нужную схему восприятия. Художник сам готовил этот альбом, он расставлял работы так, как было для него важно. Сам оценивал свое творчество. Ему хотелось выглядеть, как концептуалист, а натурализм, видимо, казался ему менее привлекательным. Его реалистические работы лишены призрачности, они понятны, узнаваемы и эмоциональны. Они цветные, хоть с самого начала он не любит пестроты (последующая монохромность песков и пустынь это подтверждает). Но здесь – в натурной живописи – может быть не только Лекарь, а кто-то еще из русских живописцев (и не только русских), А в концепции – тут только Лекарь. Это нормально для художника, который сначала просто себе рисует, и рисует с удовольствием, а когда у него рождается желание двинуться дальше, вопрос приобретает характер сугубо личный, творческий. Вопрос самореализации, преодоления самого себя. Куда идти, в какую сторону? Где искать? Если бы было только то, с чего он начал, мы бы сказали, это Лекарь, и имя ему легион (смотри историю русской натурной живописи конца девятнадцатого, начала двадцатого века). А так, как состоялось, это художник в единственном числе. Это явление.



Размышления о природе явлений на выставке Бориса Лекаря (Селим Ялкут)

Искусствоведение – профессия, состоящая исключительно из игры слов и причуд воображения. Легко описывать размеры картины, ее технику, или что там виднеется на заднем плане. Но главный вопрос остается. Как вписать содержимое в более масштабный контекст, озвучить от имени автора личностное начало работы, объяснить или хотя бы пофантазировать на тему, что именно художник хотел сказать. Сейчас каждое явление имеет столько смыслов, сколько брошенных на него взглядов, а реальность дается в очень неясных ощущениях, как в послеобеденном сне на полный желудок.

Постмодернизм упростил условия игры. Никому не нужно ничего доказывать. Даже те, кто не говорит по-вьетнамски и не ест риса, хотят делать ням-ням. Это медицинский факт. Люди заняты. Но некоторые трудятся не только поэтому. Таким трудно угодить, хоть им как раз немного нужно. Им главное, сказать нечто от собственного имени, успеть высказаться. Если нужен пример, пожалуйста. Борис Лекарь – человек, скажем для начала, запоминающийся.

Запоминающийся узнаванием. Узнаванием настолько, что может служить неким средством измерения, когда кажутся совершенно естественными слова: «смотрите, прямо, как у Пикассо» или «шея, как у Модильяни». Каждый из таких примеров открывает какую-то сторону процесса. Отсюда вырастает главнейшее свойство узнавания – его неповторимость, особость, пример для подражания.

Поэт обронил: «Не сравнивай, живущий не сравним». Там, где прибегаешь к поэзии, следует использовать ее язык. Поэзия – в слове или изображении – явление сложное, а потому хрупкое. С окончательным выводом лучше не спешить, но и без сравнения не обойтись. Чем притягательно искусство для нас – простых смертных? Сопереживанием, неравнодушием. Сравнением свое-

го мира с миром художника, степенью приближения к тому, что мы видим, слышим, ощущаем. Сопереживание делает творцами всех желающих, жаждущих приобщения.

Конечно, приятно писать о хорошем человеке хорошо. Это как бы отдельное удовольствие. Внутри что-то отпускает и потом долго не возвращается. Но не в человеке дело. А дело в свойствах, вернее, в особом свойстве – в новизне взгляда художника на мир, который, вроде бы, открыт каждому. Мир ясен до очевидности, но довести эту очевидность до общего сведения доступно очень немногим. Сделать свое видение достоянием общего зрения. Раскрыть глаза. Расслышать «шум времени». Для высокого сравнения нужен эталон, он указывает на нечто, еще не увиденное и не расслышанное, и делает его общим достоянием. Утверждает для общей пользы. Убеждает, потому что публику, любую – интеллигентную и не очень, нужно к себе приручить. Но где отыскать слова? Где найти красное, чтобы раздразнить и пробудить чувство? Сытого человека трудно удивить, а голодный не станет слушать. В этом сложность подхода, отыскать для себя зрителя. С нашим буфетом не очень разгонишься, остается рассчитывать на качество самого предмета искусства.

Только йоги по-настоящему здоровы и морально устойчивы, до тех пор, пока не вздумают поднять руку на комара. Но в краях, откуда родом Борис Лекарь, комаров столько, что убийство принимает характер геноцида, без всякой надежды на достижение конечного результата. Именно тут учатся терпимости и всепрощению. Свидетельство тому – ранние акварели художника. Они сделаны как раз в тех местах. Основное в акварели – мотив. При достижении определенной техники (о дилетантах мы не говорим) главным оказывается просветленное состояние художника, пишущего акварель. Отсюда выбор объекта изображения, мотив, камертон, настраивающий душу в унисон, в лад с окружающим миром. И неважно, каков этот выбор. Городской пейзаж, верхушки церквей, или, вернее всего, состояние природы как таковое – утро, туман, весенний разлив... В западной культуре акварель – всего лишь путь к живописи, ее пробные шаги, но никак не самодостаточное воплощение, способное исчерпать тему. Западная поэзия (а акварель – именно поэзия) перенасыщена эмо-

циями, страстями, агрессией, возвеличиванием человека в ущерб всему остальному. Присутствие человека ощущается буквально на каждом шагу. Стирку белья на фоне античных развалин – вот то, что западный художник может противопоставить ходу времени. Совсем другое – Восток. Душа акварели лежит именно там, она рождается в созерцании таинственных, почти мистических свойств явлений и объектов природы, их перетекания и растворения друг в друге. Что объединяет их между собой – природу, человека и Бога? Свет. Его сгущения и разрежения, заполняющие пространство. Посредством человека Свет объединяет живущее с неживым, умершее с еще не рожденным, реальность и иллюзию. Царство света – пустыня. Мираж. За этим сюда идут, вернее, *удаляются в пустыню*, *блуждают в ней*, потому что пустыня имеет свое особое свойство. Она *просветляет*.

А теперь вернемся к Борису Лекарю, хоть мы от него и не уходили. Это он *удалился* от нас с этюдником, неудивительно, что просветление приняло характер живописи. Она похожа на библейские псалмы. По существу это одно ощущение – первооткрывателя, переданное разными средствами – словом и красками. Слово было раньше, с него все начиналось. Но краска наводит на резкость, и тем завершает процесс творения. Если бы Бог решил оставить мир двухцветным, он не пустил бы в него художника. А заодно заменил звук надписью, как в немом кино. Но Он так не поступил, и был прав, если наше одобрение имеет здесь какое-то значение. Звуки и краски пришли в мир одновременно. Художник берется уточнить детали и его *усердие* (тут это слово уместнее, чем *вдохновение*) не кажется чрезмерным.

Живопись Бориса Лекаря есть извлечение энергии света. Как ни смотреть, но это факт, или нужно брать справку у глазного врача. Энергия, излучаемая объектами изображения, делает их одушевленными. В этом основная творческая задача художника. Не говоря уже об энергии человеческих лиц, одушевленных изначально, но подчеркнутых средствами художества так, что энергия света достигает материальной силы природных явлений. Свет бывает разный. Борис Лекарь – художник лунного, призрачного света. Таково серебристо-молочное сияние его портретов (у персонажей хочется проверить кровь на гемоглобин) – свечение глаз,

лица, аура, обозначающая эфирную природу объекта изображения. Трудно представить, как работает подсознание, то ли произвольными толчками, напоминающими волнение земных недр, то ли блужданием в таинственных лабиринтах, ведущих в мрачные глубины. И никогда к свету. У Бориса Лекаря наоборот. Нельзя все понимать буквально. Можно заставить светиться кого угодно, даже собаку Баскервилей. В эпоху гражданских свобод публика сама должна уметь отличать художество от хулиганства, и ее выбор в пользу Бориса Лекаря не случаен. Художнику удается удержать эмоции в рамках душевного волнения, но разве одного душевного волнения недостаточно? Такова природа художества, его движущая сила. Постоянное хождение по краю (*краю ночи* – как точно сказано), отделяющему свет от тьмы.

Удивительно, постоянно экспериментируя Борис Лекарь остается сугубо традиционным художником. Он даже архаичен и назидателен, пытаясь извлечь из освоенного им жанра дополнительные возможности. Тут он моралист, пытающийся придать своим персонажам ореол святости. Сияние, нимб вокруг головы заставляют задуматься. На основании его портретов можно записывать в святцы и проводить канонизацию, их можно брать напрокат для Крестного хода. В этих портретах нет ни эллина, ни иудея, только свойства самой натуры.

Даже самый отъявленный материалист не может обойтись без слова *душа*. Что он под этим понимается – неясно для него самого, но слово это есть. Как не крути, а без него не обойтись. Можно назвать это свойство *энергией души*. Оно постоянно, как природное явление, – если не одно, так другое. Вопрос в том, что с ним делать, на что употребить. На добрые дела – это точно. Можно самостоятельно, можно через церковь или синагогу. Но есть редкое свойство. Преобразовать эту энергию в нечто совершенно особенное. Борису Лекарю это дано. Он даже (как бы это выразиться помягче) злоупотребляет своим даром, наделяя им предметы неодушевленные. И тогда вы видите, что посуда ночью начинает разговаривать между собой. Вы берете художника на подозрение. Вы видите в нем мистификатора. Вы сравнивайте его с собой. Позвольте насторожиться – говорите вы. Нет, такого быть не может...

А у художника Лекаря может. Фокус (если обратить в шутку) Бориса Лекаря в том, что ему удаются размышления о природе вещей. Не просто увидеть и разглядеть, не просто передать, а придать вещам и явлениям новое свойство, которое мы за ними не замечали. Не подозревали. Это свойство – есть присутствие в природе (помимо элементов, известных из периодической системы Менделеева) некоего начала, которое составляет общую основу всего живущего, стоящего, лежащего, плывущего среди лилий и кувшинок или скрытого за облаками. В каждом и во всем сразу заключены эти таинственные частицы. Их нужно передать. Зачем? Подозреваем, этого не знает и сам художник. Как отшельник, обосновавшийся в пустыне (опять эта пустыня!), он ищет ответ на еще не заданный вопрос. И вопроса, собственно говоря, нет, есть всего лишь попытка извлечения смысла из неопределенности. Иногда разгадку называют Божьим промыслом, но лучше над этим не задумываться. Не давать определений. Нужно просто почувствовать. Попробовать передать. Найти средства. Но легко говорить... Позовите Лекаря (так странным образом оправдывает себя фамилия художника). Если Израиль вдруг захочет взглянуть на себя в зеркало, то оно всегда под рукой. Акварели Бориса Лекаря. Подчеркнем. Не географический, государственный, а именно *духовный Израиль* – общее наследие, мощи Киево-Печерской лавры...

А теперь для сравнения попробуем вставить Бориса Лекаря в Историю Искусств. Представим лучшее, на что может откликнуться воображение – уходящую вглубь анфиладу комнат. Женщина экскурсовод во главе поспешающей нам навстречу небольшой толпы, заводит в большой светлый зал, ждет, пока все подтянутся (в составе группы всегда есть люди, занятые самими собой и друг другом). Подождет, пока все подойдут и объявит. А теперь мы с вами в зале Бориса Лекаря. И обведет движением руки стены. Сравните с тем, что вы уже видели, сравните с залом Гойи, Веласкеза, импрессионистов, Пикассо. (Минута почтительного молчания.) Вы скажете, не похоже, и я говорю – не похоже. А почему должно быть похоже? Давайте, я спрошу по-другому. И вы поймете, в чем вопрос. Насколько то, что вы видите, позволяет по-новому увидеть мир? Пусть слегка (или побольше –

кому как), пусть по крупице, но обостряет ли увиденное зрение, заставляет сосредоточиться и задуматься над этим увиденным? Ведь зрение улучшают по-разному. Окулист – очками, каждому нуждающемуся. Художник – красками, сразу всем желающим. И тоже нуждающимся. Есть такой специальный язык, *метаязык*, который придуман для специалистов. Чтобы они лучше понимали друг друга, не оглядываясь на всех остальных. Иначе, какие они специалисты? Но ведь художник пишет не для специалистов. А для кого? Правильно, он пишет для себя, потому что таково его редкое свойство, свойство творца. Ну, а дальше? Без нас, без публики ему не обойтись. Нужен зритель, *соучастник*. Общество нуждается в том, чтобы тот, кто видит лучше, сумел передать свое ощущение, свой опыт остальным. Пока мы толпимся и возбужденно спрашиваем друг у друга: – Ну что там? Что *там* видно?





КАРТИНЫ ИЗРАИЛЯ И НЕ ТОЛЬКО

Нина

По своей природе, я – одинокий человек, одиночества не боюсь, могу жить одна. Поэтому для меня странно сочувствие в одиночестве, которое я сейчас часто слышу. Главное для меня, нет Бори. Это единственное, и все сразу… В этом моя проблема, справиться с этим очень тяжело.

Я хорошо помню: подруга сказала, вот, приехал художник из Киева, давай, сходим, познакомимся, посмотрим. Он нас пригласил, но когда пришло время идти, подруга оказалась занята. И я пошла одна. Боря жил тогда с мамой Татьяной Самойловной, был в угнетенном состоянии, можно вообразить, как это было, мы сидели под стенами в разных концах комнаты, смотрели друг на друга и молчали. Или он что-то спрашивал и сам же отвечал с таким



обреченным видом, что становилось ясно. Сплошной мрак и ничего больше. Я успокаивала, все будет хорошо, но, честно говоря, как это хорошо, представлялось с трудом. Мы ничего не пили, ни чая, ни кофе, просто сидели, я мысленно ругала себя и подругу, и... уже не знала, как отсюда выбраться. Наконец, Боря, пересилил себя и предложил: Давайте, я покажу свои картины... И стал показывать свои киевские работы. Это, конечно, всё изменило. Было так непохоже на того мрачного, покинутого человека, который оказался в тот день передо мной...

С этого началось наше знакомство. Трудно охватить сразу все, поэтому начну с главного. Боря был совершенно законченный идеалист, буквально – не от мира сего. Он во всем искал справедливость, это было для него главным – Справедливо или нет – его оценочный критерий, можете себе представить, каково с ним в Израиле, где все спорят друг с другом до хрипоты. Боря изучал историю Израиля, процеживая каждый факт через свое понимание справедливости. Если судить историю с позиций морали, то, конечно, есть к чему придраться в судьбе любого народа. Боря утверждал, что его профессия архитектора, научная степень позволяют оценивать факты беспристрастно, без лишних эмоций. Это так, но все равно, решает характер, убеждения. У нас они были левые, у меня менее, у Бори больше. Он сочувствовал палестинцам. Притом, что Борина жизнь сложилась здесь вполне удачно. По быту, по творчеству, его мнение об искусстве имело вес. Казалось, были все основания для нерассуждающего патриотизма. Сколько у нас было споров, сам Боря их и провоцировал. Большинство приехавших тут же становились безоговорочными израильскими патриотами, добавьте к этому советское воспитание, и можете предста-

вить, что получится. Люди с тоталитарным мышлением, они тут же становятся правыми и не признают компромиссов. Спорили отчаянно. И сам Израиль к этому располагал. И таким, как я его застала, и позже, уже при Боре, и сейчас....

Мы с сыном приехали в Израиль первого ноября 1971 года, можно сказать, одними из первых. В Риге я участвовала в сионистском движении, в тюрьме не сидела, но что-то делала, ездила в Потьму на свидания с политзаключенными. Для меня это было естественным поведением, но здесь, в Израиле к этому отнеслись иначе. Стали приглашать, просить рассказать, что там у нас в Союзе, тут же прислали за мной машину с приглашением, посетить один из кибуцев на севере страны. Представьте, седьмого ноября мы с сыном оказались в этом кибуце. Возле входа там была большая площадь для собраний. Мне сказали, каждый год в этот день на площади вывешивают красные флаги, и люди собираются, отмечать праздник. Сейчас этого делать не стали, не знали, как я, гостья, к этому отнесусь. Вот такой это был кибуц, еще со времен Британского мандата, когда эти люди с оружием в руках отстояли независимость. Сотни людей и среди них многие – левых взглядов, можно сказать, левой идеологии, потому что там были и депутаты кнессета и министры. Тогда было время левого правительства Голды Меир. И все эти депутаты и министры мыли за собой посуду в общей столовой, и делали общую работу. Это были абсолютные идеалисты, честные люди, бессеребрянники. Я туда приезжала много раз. Эти люди, там в кибуце были очень похожи на Борю. Он был такой же, как они, левак. Бескорыстный, принципиальный человек, которому нужна истина, правда. С этим он жил. А меня он постоянно просил рассказать о жизни в Иерусалиме, его очень интересовал мой образ Израиля, ведь я приехала в страну почти на двадцать лет раньше.

Вне периодов депрессии это был удивительно живой человек, выдумщик. Я об этом часто вспоминаю. И выдумки были такие, что нужно суметь понять. Однажды на встречу Нового Года он явился в костюме голого короля. Там, где нужно, на месте плавок висела вывеска «Голый король», на голове сидела корона, и больше ничего. Я отношусь спокойно к такому раздеванию-одеванию (а как бы иначе это могло быть?), но дамы укрылись на балконе, на многих это произвело сильное впечатление. А к Грише Медвецко-

му он явился на завтрак в костюме и бабочке, это было буквально по приезде в Израиль. Гриша снял для них квартиру и пригласил на завтрак... Для Израиля всё это было совершенно нехарактерно... Боря очень любил всякие неожиданности, он по своей сути был, как бы, карнавальный человек – веселья и грусти. В нем это уживалось. Конечно, для него самого это не главное, но это то, что очень помогает жить окружающим...

Мы начали встречаться. Он понравился моей маме. Вообще, он очень трогательно заботился о стариках. Мама с отцом приехали спустя год после меня. Матильда и Маркус – их имена. Мама получила образование в Женеве. Она была главным технологом на фабрике «Дзинтарс» – знаменитой на весь Союз фабрике Рижской косметики. Отец получил инженерное образование в Бельгии. Еще до войны в Риге они были тружениками, красивыми, уверенными в себе людьми. Отец нас буквально спас, выхватив из города, на улицах уже стреляли, ждали немцев. Я с мамой отправились в эвакуацию, а отец – на фронт. Воевал в разведке, имел боевые ордена. Он бы, конечно, погиб. Сам он так считал. Но его взяли в СМЕРШ переводчиком, он знал немецкий язык как родной. Начальником у него был один из видных латышских стрелков по фамилии Гейде – фанатичный коммунист. После войны мы жили с ним в одной коммунальной квартире, несмотря на то, что он занимал важную партийную должность. Но аскетизм был у этих людей в крови. С нами он в меру боролся как с пережитками капитализма, но отношения оставались человеческими. Жена, а потом вдова Гейде служила в КГБ машинисткой, и втайне предупредила меня, что у нее установлены прослушки. Это когда я стала активно заниматься сионистской деятельностью. И еще... Когда Маркус в 1944 году вернулся в Ригу вместе с передовыми частями Красной Армии, в живых там оставалось 130 евреев, из 120 тысяч живших до войны. Вся наша семья погибла, наша бывшая домработница Кази, полька по национальности передала маме кольцо ее сестры Рут. Кази пришла к коменданту гетто, просила отдать ей дочь Рут Стеллу. Комендант пообещал отдать взамен десяти других детей, которых она сама может выбрать... для уничтожения... Мама носила это кольцо до самой смерти, не снимая, теперь ношу я. Мне кажется – и это постоянное ощущение, что я живу за себя и за Стеллу. Она

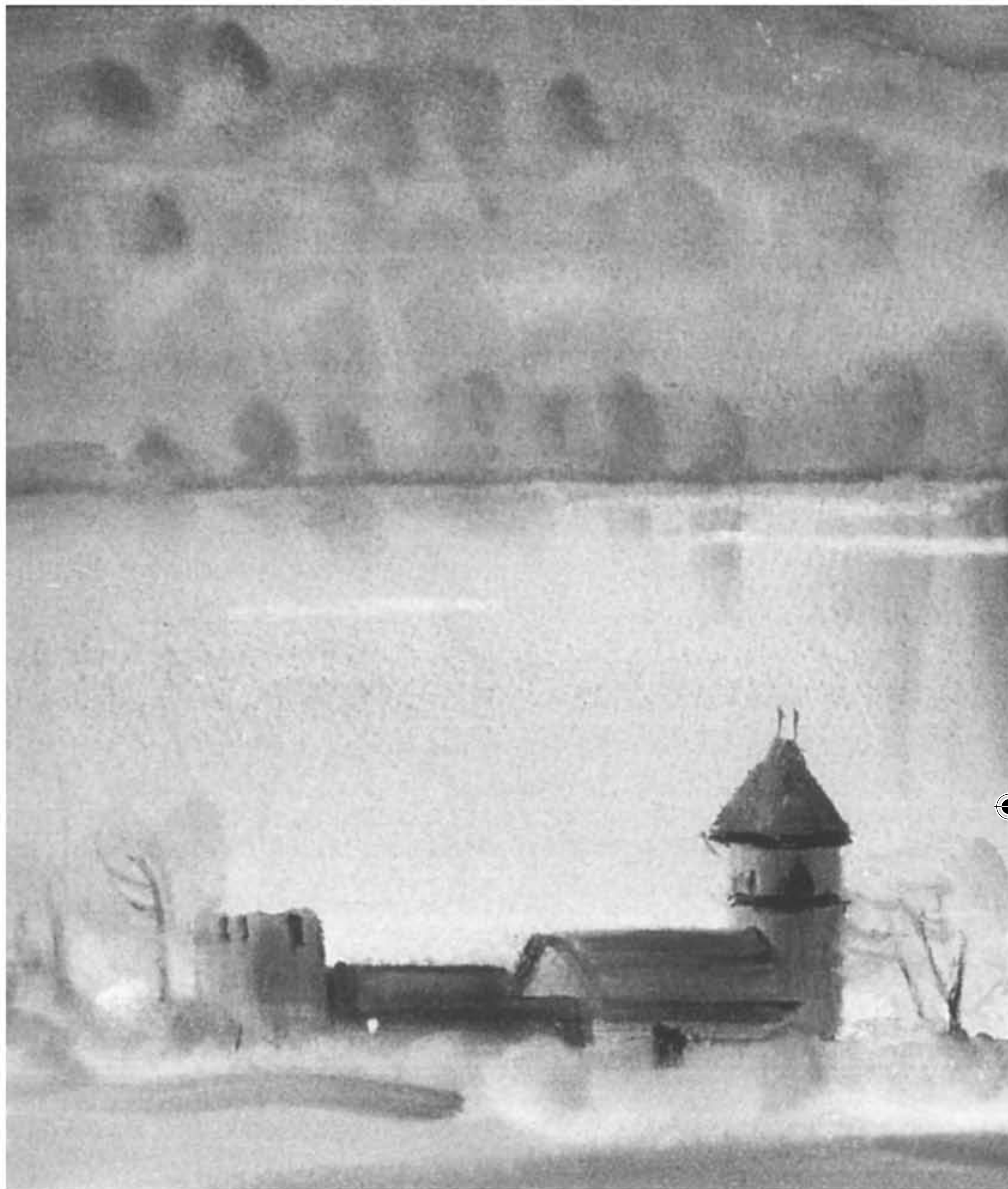
была моей ровестницей.

Родители приехали в Израиль спустя год после меня, папа умер в восемьдесят втором, а мама была жива еще при Боре, умерла в девяносто пятом. У нас были замечательные ужины. Борина мама Татьяна Самойловна, ее сестра из Харькова Катя, моя мама – три трогательные старушки, Боря называл их “группой захвата”, и мы с Борей.

Каждый год в конце февраля у нас отмечался день рождения Моцарта. Играла музыка Моцарта, горели свечи, стоял портрет Моцарта Бориной работы. Немецкие конфеты с портретом Моцарта, ликер Моцарт. И каждый год собиралось немало разных людей. Однажды был режиссер Юрий Любимов с женой Катей и сыном. В середине вечера Катя съездила домой, а когда вернулась, принесла маме огромный букет цветов. Это было так замечательно... последний мамин праздник... и эти цветы. Так у меня в памяти и сохранилось.

Боря приехал в 1990 году, К тому времени я была, что называется, «старой израильтянкой», работала в Сохнуте, организации по делам эмигрантов – последние одиннадцать лет до ухода на пенсию. Иерусалим и весь Израиль за эти годы очень изменились. Я хорошо помню свои первые впечатления. Несколько лет я представить себе не могла, что живу в Иерусалиме. Вот так просто выхожу на иерусалимскую улицу, иду на базар или в магазин, дышу, живу. Это было чудом, я не могла поверить! Я знаю, такое чувство появляется у многих. Кажется невероятным, мечта ставшая явью. Иерусалим остается мистическим городом, не только для евреев, но для евреев в первую очередь.

Со временем человек привыкает, и я привыкла. Но все равно ощущение города сохраняется как бы отдельно от всех прочих ощущений и впечатлений. Мы меняемся, и оно меняется, я бы назвала это *настроением самого города*. Сейчас это настроение кажется более напряженным, тревожным. Странно? Но мне так представляется. Однако, главное, – то, что вне времени, остается. Есть такой *Иерусалимский синдром*. Это не обывательское название, а термин. Загляните в медицинскую литературу, вы его там найдете. Люди от этого синдрома лечатся, в психиатрической больнице Иерусалима есть специальное отделение. Обычно, это



религиозные люди, неважно какой конфессии, евреи, христиане, христиане даже больше. Возникает шок от пребывания в Иерусалиме: христианин воображает, что он – Иисус, еврей, что он – Мессия. Эти люди ведут себя абсолютно неадекватно, могут раздеться прямо на улице, встать на перекрестке, среди машин и



начать вещать. Я сама видела таких проповедников. Мусульман меньше, хотя и они встречаются. В их духовной столице – Мекке, говорят, то же самое. Сказывается привязка к месту, склонность к мистике. Когда в восемьдесят пятом году родилась моя внучка, ее мама сказала мне в роддоме: – И она родилась в Иерусалиме!.. Казалось бы, обычные слова, но нужно было слышать, как они были

сказаны. Эта фраза мне понятна.

Мы с сыном тогда целыми днями бродили по Иерусалиму. Старый город казался нам, европейцам, чрезвычайно экзотическим. Когда мы приехали, начиналась зима, в тот год очень снежная. Современной канализации не было. Все, что таяло, текло по каким-то дорогам и ложбинам прямо под ногами и имело соответствующий запах. Ясно, никто этим никак не озадачивался. Крики, чад, кальяны, в общем, Восток. Всё было открыто, не так, как сейчас. Гило – новый район, где мы потом жили, находится в нескольких километрах от Бейт-Лехема, Вифлеема. Тогда мы ходили совершенно беспрепятственно, в Вифлееме был базар, сравнительно дешевые христианские продуктовые магазины. Это было одно целое с городом, не было никаких мыслей об опасности. Она, конечно, могла быть, но в жизни это ничего не меняло. В отличие от нынешнего.

С Борей было то же самое. Это были последние годы, когда еще можно было сравнительно свободно передвигаться. Они с Гришей Медвецким гуляли, и Гриша показывал ему сверху Вифлеем. Боря был поражен. Кажется, времени нет, а есть всего лишь несколько шагов в пространстве, и в нем вместилась вся человеческая история. И это так просто, прямо внизу. Стоишь над Вифлеемом и рассматриваешь. Это действует очень сильно...

Нравы были очень простые. Спустя два дня после приезда родителей, я получила приглашение от Голды Меир. Встреча в защиту узников Сиона. – О, сказали мне, приходите с родителями. И я пришла. Папа поцеловал руку Голде Меир. – На каких языках вы говорите?.. – Французском, немецком... – О, мой сын (или дочь, не помню уже) тоже говорит по французски... Посадила с нами за столик. Это было очень по семейному.

Мой отец до войны был в рижском Бейтаре – еврейской сионистской организации вместе с Ицхаком Шамиром будущим премьер министром Израиля. Отец запросто пришел в кнессет. Шамир тогда был простым министром, они встретились по приятельски.

Или такой пример, сейчас даже не верится. Совсем другие времена. Однажды, когда мой сын был уже в армии, я была на какой-то встрече у Менахима Бегина, он был главой правительства. Мы сидели в большой комнате на стульях вдоль стен. Шел разговор.

Встреча, глава правительства, люди ведут себя тихо, спокойно. Вдруг какой-то шум, входит мой сын в армейской форме, тянет за собой свой автомат. Растрепанный, грязный, запыленный. – Алик, как ты сюда попал?.. Оказывается, он приехал в отпуск со службы, из Синая. – Мама я забыл ключи от квартиры, узнал, что ты здесь. Дай свои... С этим от пришел. Можете себе представить, его пропустили в кабинет премьера с автоматом. Тогда было так. Это факт. Никого это не смутило. Я отдала ключи, и он удалился. Сейчас правительственный квартал перекрыт, на машине нельзя заехать. Абсолютно нереально в наше время. А тогда так было.



Родители легко вписались в местную действительность, быстро освоили иврит, повидимому, знание других языков помогло. Были разные общества ветеранов, большая община марокканских евреев и вообще выходцев из Северной Африки, там говорили по французски. Общения хватало, они не скучали. Как-то отец мне рассказывает:

– Знаешь, я шел по улице и встретил одного еврея...

– Папа, как будто здесь можно встретить кого-то еще...

Он даже как-то удивился. – Ну, знаешь... Мало ли кого...

Израиль удивительно красивая страна, очень разнообразная по ландшафтам, климату, быту. А когда я оказалась первый раз на Мертвом море, со мной тоже чуть не случился этот синдром. Я вдруг почувствовала себя на другой планете, неважно где, просто

не на земле. Я не могла придти в себя от этого пейзажа. Это, если о природе... И, конечно, был культурный шок. Приезжая из Союза, мы думали, что попадаем на свободу. Это так, но мы думали, что попадаем на Запад. Вот тут мы сильно ошибались. Запада здесь тогда не было и в помине, исключая, может быть, центр Тель-Авива. Набережная выстроена сейчас, все эти высотные гостиницы, благоустройство, а тогда – трудно теперь представить – развалины, маленькие домишки. То же было и в Иерусалиме. Мельница Монте-Фиоре, сейчас это престижнейший дорогой район, раньше там были сплошные руины, ни одного целого дома. Покупали абсолютно за бесценок, строить там было дорого. Специфика места сказывалась – разруха после шестидневной войны, приезжали

бедные люди из Йемена, или откуда-то еще, селились просто так. Убогие, разбитые хибары, ничего похожего на то, что сейчас, мелкие лавчонки. Были две торговые сети, мы их еще застали. Одна – для семей военных, которые отоваривались по талонам, другая – торговая сеть Машбир для всех. Одевались и покупали еду в самых простых магазинчиках, еда была очень примитивной. Чего не было – очередей. Для меня это было очень важно. Я всегда сквозь окно заглядывала, если люди были, я не заходила. Это первое, на что я смотрю, стоять в очереди для меня невыносимо.

Первые годы я постоянно ездила в автобусе, испытывая странное ощущение: все вокруг говорят на иврите. Это было так необычно, говорят на языке, которого, вроде бы, нет. И вот он у меня в

ушах. Зато сами автобусы, это нужно было видеть, я уже не говорю, находиться внутри. Это было нечто, техника времен Британского мендата. Я привыкла, что троллейбусы в Риге переполнены, но когда я села в иерусалимский автобус, тут я поняла, что это такое. На поворотах, все падают, валятся друг на друга, все скрипит, скрежещет, кажется вот-вот развалится или перевернется, и уже почти все равно, что будет, так это невыносимо, тут же курят, щелкают семечки, бросают мусор. Как они гудели, как все кричали. Как нас качало. Что-то невероятное. Курили все. Духота, дышать нечем, израильское лето. Сидений не видно, одни головы, ноги клали на плечи, на спину. Потом это прошло. Но это было. Так же, как и в кинотеатрах, там тоже орали, там пили, там ели...



Но само израильское общество было теплым. Помню, началась война Судного дня, а у меня сын болен. Высокая температура, какая-то сыпь. Я в отчаянии, выбежала купить что-то, мечусь, хлеба нет, мирная жизнь кончилась. У меня был, видно, очень удрученный вид. Остановила какая-то дама. – Что с вами?... – Очень болен сын, высокая температура...

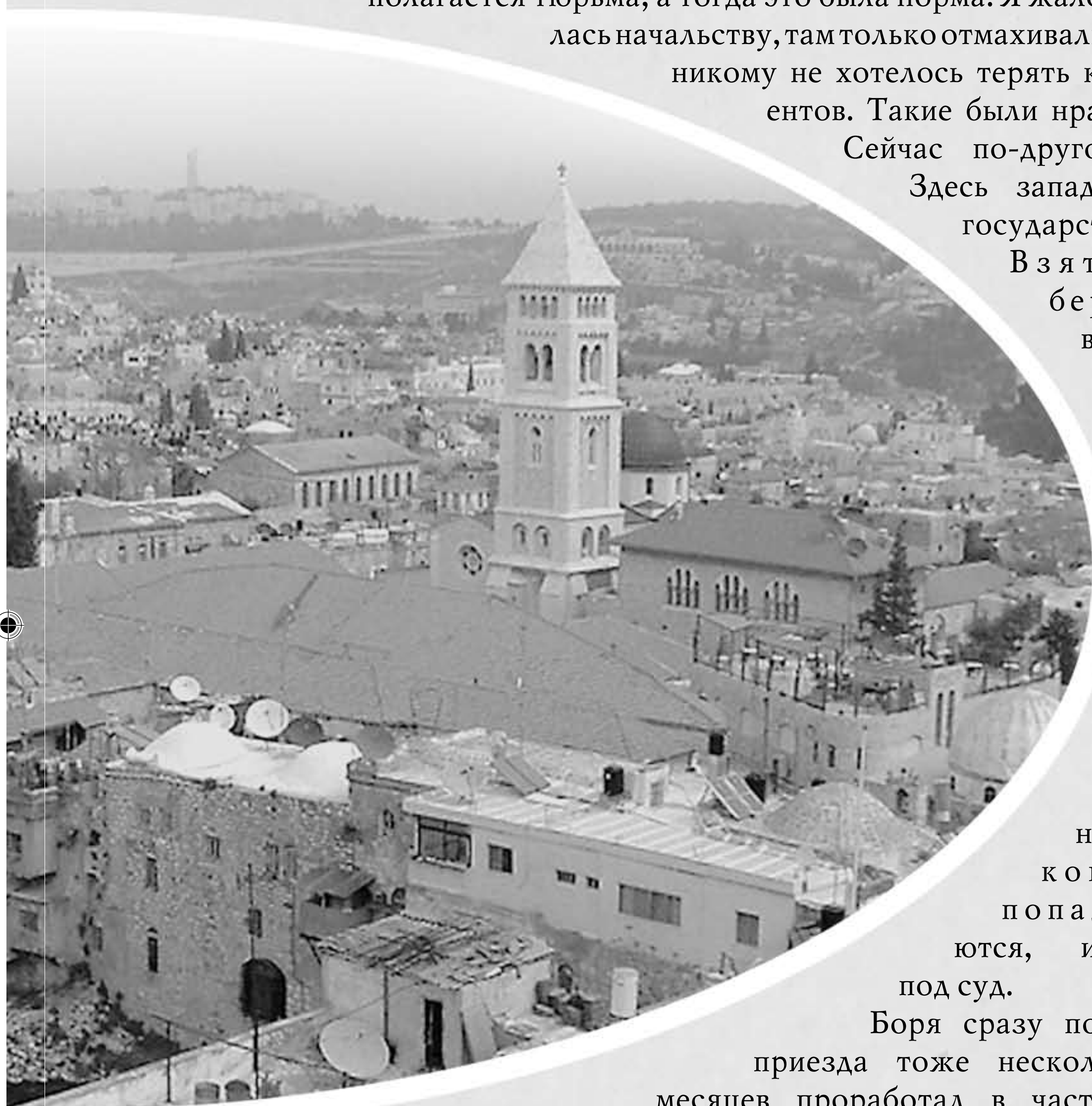
– Не беспокойтесь, только скажите свой адрес… Через два часа пришел врач, поставил диагноз. Корь. Лечения не нужно, лежать в темноте.

Я была одна, у меня было плохо с работой. Я никогда не умела устроиться, хваталась за все, что подворачивалось. Мне говорили, зачем ты рвешься, ты же можешь получать по безработице… Но мне не хотелось, как это я… по безработице. До войны Судного дня я работала в проектной конторе, которая на горе Скопус строила центр с котельной. Я – инженер-теплотехник, но здесь такого нет, здесь делают все сразу – и тепло, и холод. Называется – *гражданский инженер*. Я быстро выучилась. Как раз стали строить университет на Скопусе. Но когда началась война, разразился невероятный кризис. Инфляция – семьсот процентов в год. Контора закрылась. Прекратилась всякое строительство, я осталась без работы. Но (не все так плохо) и выиграла крупно. Когда я брала ссуду на квартиру, ее еще не привязывали к индексу цен. Это были последние такие ссуды, потом, конечно, стали привязывать, а тут поползли эти сотни процентов, и за две месячные зарплаты я получила квартиру. Невероятно.

Вот только нигде не могла устроиться на работу. И я пошла на склад продуктов в гостинице. Наступили самые черные дни за сорок лет моей израильской жизни. Склад – скопище людей ниже всякого дна. Наркотики, наглость, бессовестность. Я со склада должна была выдавать продукты. Подходили повара: – Мы школу не кончали, ты будешь носить, таскать, как мы скажем… Хотели меня унизить. Сломать они меня не могли, но физически было очень тяжело. Огромные мешки, банки, ящики, коробки с продуктами, консервами. Я очень уставала. Казалось, ничего другого уже не будет. Я приходила в полное отчаяние. Там же был склад напитков. Дорогие напитки не выдавались в бутылках, их разливали порциями, а бутылки стояли открытыми прямо передо мной. И я стала пить. Вместе с транквилизаторами. Это мне помогало. Я втянулась, стала постоянно употреблять. Я буквально загибалась, и этого не понимала. Там был грузчик, переживший катастрофу, откуда-то из Европы. Я обратила внимание, он читал английские газеты. Очень интеллигентный, и потерянный, как и я. Лет шестьдесят или немного больше. Жаловался, маленький сын, он должен

успеть поставить его на ноги. Отозвал меня в сторону: – Хочу с тобой поговорить. Не пей. Ты погибаешь. Если не прекратишь пить, ты пропала.... И на меня подействовало. Тогда же я должна была ночевать у одной безутешной вдовы. Она рыдала у меня на плече. А я после этого склада, уставшая. И все, чтобы хоть немного заработать. Ужасное состояние. Всего девять месяцев, но самых трудных. Потом я устроилась в проектную контору, потом перешла на работу в Сохнут. Тогда в Израиле процветала протекция, то, что в России называли блатом. Здесь – это протекция. Все как-то невинно, никто не видел ничего плохого. Один просил за другого. Очень семейная жизнь. Ну, и наглость. Когда я работала в проектной контроре приходили подрядчики со строек, те еще

типы. Они не стеснялись: – Что ты тут сидишь по восемь часов, я раз в неделю к тебе приду, будешь иметь больше... Сейчас за такое полагается тюрьма, а тогда это была норма. Я жаловалась начальству, там только отмахивались, никому не хотелось терять клиентов. Такие были нравы. Сейчас по-другому. Здесь западное государство. Взятки берут везде, но, когда попадаются, идут под суд.



Боря сразу после приезда тоже несколько месяцев проработал в частной фирме. Однажды вернулся счастливый. Уволили. Он все делал тщательно, профессионально. Видно, это их не устроило. А у Бори исчезли последние сомнения, как жить. Можно было пускаться в свободное плавание.

До этого мы съездили на север Израиля. Боря купил машину, и

мы отправились. Я уже была к нему неравнодушна, настраивалась на лирическое путешествие. Но Боря позвонил и церемонно спросил, не буду ли я возражать, если с нами поедут две очаровательные маленькие женщины. Я, конечно, не возражала. Приехали две киевские Борины приятельницы на груде одеял, и мы отправились. И все было чудесно. Боря умел устраивать праздник.

А после увольнения с фирмы мы отправились в Лондон. Это было наше свадебное путешествие. Все произошло тихо, Боря вообще не любил громких слов, любовных страстей. Он понимал глубже. На карту поставлена собственная жизнь, и вы находите человека, которому можно ее доверить. Я почувствовала его отношение к моей маме, моему сыну. Боря – человек очень доминантный, это в отношениях всегда присутствовало, и это было то, что мне было нужно. Я сразу почувствовала, что могу на него положиться. Мое уважение к его таланту – это была часть, а главное, сама жизнь. Я сразу и очень надежно ощутила, этот человек взял ответственность за меня.

Потом Боря работал в Университете, в отделе Еврейского Искусства. Он занимался исследованием старинных синагог. Командировки в Индию, Тунис, в Грецию. О таком можно было только мечтать. Его начальницу звали Ализа. Однажды она позвонила нам домой, а Боря перепутал ее голос со своей приятельницей и начал рассказывать, как замечательно он устроился. Может сидеть дома, рисовать, работать, когда захочет, когда есть свободное время и желание... Эта Ализа слушала, не перебивая... Можно вообразить, что она думала. Но отношения остались, и на работе это не сказалось. Значит, Боря их устраивал. И ничего удивительного, при его знаниях и квалификации.

Вставал он в пять утра. Шел в бассейн, вообще, ходил очень много. Дисциплинированный человек, работал по часам. Считал себя очень одиноким, несмотря на то, что ему звонили десятки человек. Встречался с друзьями. Я была счастлива остаться дома, но мы постоянно куда-то ходили. Он с утра расписывал по часам день, и все время было занято. Кухней занималась я, продуктами он, чтобы я не носила тяжелое. Кроме того, я не умею считать деньги, мы не укладывались, то, что я тратила за два дня, Боре хватало на неделю. На рынок мы не ездили, покупали рядом, было жаль вре-



мени. Он любил соте, готов был есть его постоянно. Каждый день тушеные овощи. Мне надоедало до чертиков. С понедельника по четверг, а дальше все это, к счастью, заканчивалось, когда у нас собирались... Боря пил водку всегда, вернее, не пил, а мог выпить. Разница есть. И я могла. У меня была хорошая школа. В Риге я работала в проектной организации. Считается, что там жуткие пьяницы. Если судить по нам, то именно так оно и есть. Начальник был прекрасный человек, специалист... и горький пьяница. Мрачный чрезвычайно, когда трезвый, и такой же мрачный с перепоя. Чтобы он не пил, это просто исключалось. Можно представить, как важно было попасть ему в настроение. С утра так и начиналось, определяли, каков градус, и делали соответствующие выводы. Вся наша публика была латыши, ужвсные антисоветчики и умеренные антисемиты. Один был – русский, знали, что он – стукач. А в общем, здоровое советское учереждение. Напивались до чертиков. Я, конечно, разделяла общую участь, но более умеренно. На следующее утро, каждый отводил меня в сторону и расспрашивал, что он такое наговорил. Не сболтнул ли лишнего. Вот такая была компания. Сын до сих пор вспоминает, как он вел меня домой от приятельницы. Ему было тогда лет десять. Может, это его вооб-

ражение. Но, если честно, такое возможно. Со всеми бывает. И у нас с Борей были на этот счет полное понимание, хотя постепенно я стала отставать, здоровье уже не позволяло.

Сын мой Алекс получил образование сначала в Израиле, потом во Франции, по специальности *социальная психология*. Работал сначала с трудными подростками на улицах Парижа, теперь занимается тем же в Провансе на юге Франции. В одном из сел есть воспитательное учереждение такого направления, он там работает и живет рядом. У Бори есть страсть к переустройству жилья,



у сына он отводил душу. Квартира в три этажа, но комнаты маленькие, руками от стенки до стенки можно достать. Боря из всего этого делал салоны, разные уголки, спальни. И получалось очень удачно. Они с сыном испытывали друг к другу большую симпатию, были близки. Боря принимал его дела близко к сердцу. Наоми (внучка), когда гостила у меня, регулярно посещала детскую студию рисования, которую Боря вел. Языка, кроме французского, она не знала, но занималась с интересом.

Боря переживал, что художникам в Израиле не уделяют должного внимания. Каждый сам по себе, такое впечатление, что никому они не нужны. И он решил делать выставки у нас дома. Тут следует отметить, что Боря относился к собратьям по профессии исключительно тепло и сочувственно. Ни о какой зависти речи быть не могло. Обо всех Боря говорил максимально доброжелательно. Я иногда даже не могла понять его отношение, когда, к примеру, я чувствовала его неприятие стиля или сомнения в способностях, в общем, в том, что ему могло быть не по душе. Он всегда находил что-то хорошее, старался поддержать. К нему часто обращались за советом. Притом не просто так, приятные слова, он всматривался, искал рациональное начало, а не просто отпускал комплименты. Он четко понимал главное, о чем стоит поговорить. Даже состоявшимся успешным художникам это было интересно, они всегда откликались. Боря умел сплачивать вокруг себя разных людей. А такое бывает далеко не всегда, конкуренция влияет. Но к Боре это не относилось. Такое впечатление, что ниша организатора была предназначена специально для него, не из-за каких-то особенных способностей арт-менеджера (так это, вроде бы, называется), вовсе нет. Это было искреннее душевное расположение и отношение умного человека. Наши выставки имели резонанс, я не помню ни одного отказа от наших предложений.





Так тепло, так интересно, и это в среде, где подобное было просто непривычно. Конкуренция, творческое одиночество, утрата смысла... ведь художник хочет показать себя, выговориться, наконец... У нас все это было. Ну, конечно, выпивали. Боря мог устроить праздник. Фирменная блюдо - печеная картошка, это всегда, и напитков, сколько душа просит... Сейчас в одной из галерей сделали вечер-выставку Бориной памяти. Планируется делать ее ежегодно...

На общественных началах Боря работал в кибуце. Преподавал живопись, собрался туда в один день и поехал. И ездил регулярно в течение нескольких лет. Это оазис по дороге на Мертвое море. Источники пресной воды. Райские места, птицы, пальмы. Ему очень нравился тамошний стиль жизни. Учеников – человек двадцать, это был большой кибуц. Занимались там сельским хозяйством, держали гостиницу, водолечебницу на Мертвом море, обслуживали в качестве экскурсоводов ближайший природный заповедник: горы, козы дикие... Там жили убежденные люди. Неординарные, не люди бизнеса, а идеалисты из Америки, из Европы, России. Вставали в четыре утра (позже слишком жарко), не гнушались никакой работы. Постепенно все кончилось: равенство, кибуц, коммунизм. Дело поставили на коммерческую основу, раздали должности, назначили зарплату. Последний раз, когда мы с

Борей были, в домах появилась филипппинская прислуга. Идеалисты разъехались искать справедливости дальше... Боря был очень огорчен.

Он был такой же, как они – человек идеалов, пусть даже довольно наивных. Зато он не распространялся на словах, он делал дело. Считал, что человек должен что-то отдавать просто так, для других. Он пошел учить живописи тяжелых инвалидов. Взрослые люди, на колясках, абсолютно беспомощные. Он привязывал им карандаш, кисть к рукам и работал вместе с ними. У них были общие тайны. Эти люди его обожали. Когда из-за болезни он ушел, они не приняли никого. Его и сегодня там помнят.

Было что-то еще. Он всегда чувствовал одиночество Очень сочувствовал одиноким людям и готов был им помогать. У него была эта потребность. Если бы не его депрессии...

В Израиле мы пили водку, а в Париже вино. В 2005 году шесть месяцев жили в Международном центре искусств. Сюда приглашают музыкантов, художников, писателей из разных стран. Центр – в самом сердце Парижа, напротив Собора Парижской Богоматери, на другой стороне Сены, стоило только перейти мост. Большая мастерская, вместе с жилой комнатой, кухонькой, всем необходимым для работы. Наша студия через коридор от студии иранца. Я прочла табличку на двери и подумала, как это будет. Спустя несколько дней Боря с этим иранцем стали лучшими друзьями. Чего только не придумывали, устраивали потешные кулачные бои, бокс – Иран против Израиля. Побеждали по очереди. Было очень весело. Боря подружился со всеми, может быть, чуть суше был с палестинцами. Те сами определили характер отношений, знали иврит, но общались только на английском, и никаких бесед на политические темы не вели. Один из палестинцев был очень талантлив, так, по крайней мере, Боря считал. Он, вообще, всегда палестинцам сочувствовал...

Боря вставал в шесть утра и методично обходил Париж по меридианам. В девять часов он возвращался. Заходил в одну и туже булочную, приносил свежие круасаны. Потом мы шли гулять, и он делился утренними впечатлениями. По воскресеньям в городе устраивались ярмарки. Боря рисовал и выменивал рисунки. Приносил домой багеты, начиненные всякой едой, разные цепочки,

мелкие сувениры, кольца, украшения. Получал от этого большое удовольствие.

Тут я не могу не вспомнить собственную маму, которая с детства мне твердила: – Учи французский... Я грустно отвечала – Ах, зачем. Где я могу встретить француза.

И моя мама, изрядная пессимистка, мне говорила, что всякое может быть, и ничто совсем не исключается... Мама, оказалась права. Часто те, кто нас любят, оказываются правы. В любви есть своя справедливость... С Борей мне это было понятно...

Еще одним увлечением было составление пространственных композиций из всякой мелочи. Сейчас везде есть такие магазинчики: все по доллару... или, все по шекелю. Боря часто туда заходил и приносил домой всякую чепуху: каких-то куколок, ангелочков, разные кораблики, домики, кувшинчики, вьющуюся зелень, все, что только можно вообразить. Это лежало в куче, у нас были большие сокровища, потом Боря начинал мастерить... Иногда, наоборот, шел от идеи, делал эскизик, а потом бегал по магазинам, искал реквизит. Был совершенно счастлив, когда находил. Получалось похоже на театральную декорацию, и выглядело, вроде бы, очень несерьезно в сравнении с живописью. Кому-то так казалось, кому-то иначе. Мне иначе... Это никакая не декорация, это сюжет, со своим настроением, радостью, огорчением. Сюжет живет совершенно самостоятельно, его можно пересказать или, точнее, прочувствовать, он сам по себе и есть представление, пьеса... Слоник, который смотрит из-за ограды, как на свободе, на воле гуляет стадо слонов. Что тут непонятного? Какой еще нужен сюда текст... Все это хранилось в отдельных коробках, так же и экспонировалось. Коробка открывалась, как шкатулка, со сценой впереди и расписанным задником. А после показа все это свертывалось и укладывалось в чемодан. Если можно придумать материальное свидетельство чудес, так оно и было. Большой, стоящий в углу чемодан с уложенными в него десятками судеб и сюжетов. Здесь была еще одна сторона его личности, характера, такая же, как художество. По жизни он был добрый волшебник, я не могу определить точнее...

И это не игра, это серьезно... Еще, будучи в Киеве, он написал триптих: три доски, выполненные под икону, в центре Христос,



по сторонам Богоматерь и Иоанн Креститель. Начинал работу он в сильной депрессии, а потом что-то с ним произошло. Он очень серьезно к этому относился. Поехал к отцу Александру Меню, показал готовые образы. Сказал, что некрещеный, еврей. Отец Александр оставил лики у себя в церкви, они у него были целый год... А потом случилась первая неформальная выставка на заре перестройки (в Киевском Политехническом институте). Боря отдал на нее своего Крестителя, и его украли, единственную работу со всей выставки. Можно представить Борино огорчение. Он сделал точную копию. Пришли в мастерскую экстрасенсы со своей рамочкой, которая регистрирует нечто необычное (не знаю, как сказать точнее). Около Спасителя и Богоматери рамочка вертелась, как бешеная, а на Крестителя не реагировала. Боря экстрасенсов в историю триптиха не посвящал, какое-то внешнее воздействие исключалось... Боря не был религиозным, хоть синагогу иногда посещал. А во время болезни, в последние дни просил: – Молитесь за меня...

Я до сих пор не могу выбраться из мрака Бориной болезни, но когда он немного рассеивается, возникают совершенно неожиданные, почти случайные эпизоды, которые неизвестно как и зачем приходят в голову. Почему именно они, а не что-то иное, более важное и значительное. Повидимому, так устроено, ко мне начинают пробиваться лучи его света. Помню, мы путешествовали по Испании, выехали из гостиницы, и друзья вспомнили, что забыли в номере фотоаппарат. Дорога, припарковаться негде, но Боря подрулил к свирепому на вид полицейскому и пошел объясняться. По испански он не знал ни слова, это ясно, и другого подходящего языка тоже. И мы наблюдали, как Боря показывает сначала на себя. Потом, как делают фотоснимок, потом куда-то назад, на гостиницу, и еще... потом они с полицейским стали хохотать и хлопать друг друга по спине... Потом мы поставили рядом машину, друзья сходили за аппаратом, и мы поехали дальше...

Заметки на полях

*Ландшафты души (**Имя?** Островский).*

Борис Лекарь – художник не эмпирического («что вижу, о том пою»), а философского склада мышления, устремленный к потаенным от равнодушного наблюдателя глубинам бытия, открытый не только и не столько чувственно-осязаемым образам мира, сколько не видимым глазом эманациям высших сил. Его картины настраивают на размышления не о быте, а о бытии, на сосредоточную, далекую от мирской суеты, медитацию, и, в тоже время, это не отвлеченный мистицизм, но визуальные образы, воплощенные в цвет и формы живописного искусства.

Неповторимая особенность произведений Бориса Лекаря – свет. Не тот свет, который падает извне на портрет или пейзаж, но свет излучаемый самой картиной, идущий из ее непостижимых глубин. Таинственный свет угасших звезд, духовный свет погребенного в песках, рассеянного и вновь возрожденного к жизни народа? Гипотез и толкований может быть много; думается, что и у художника нет исчерпывающего ответа на все вопросы. Искусство потому и искусство, а не точная наука, что возникает в нерасторжимом сплаве знания, чувства и интуиции, мысли и подсознания, а расчленяя их анализом, мы рискуем разрушить то, что преображает холст или бумагу с нанесенными на них красками в произведение живописного искусства.

Пейзажи Лекаря – царство безмолвия и одиночества: человек остается один на один с первозданным величием природы, и ни шелест листвы, ни полет птицы, ни бег зверя не нарушают извечной, изначальной тишины. Эти картины надо видеть, в них нужно вслушаться – не в звук, а в беззвучие, пронизанное неосязаемой мыслью и чувством художника, его благоговением перед совершенством всего сущего. Порой кажется, что это природа первых дней творения, и только в редких композициях силуэты дома на скале или яхты в бухте возвращают нас в день сегодняшний. Изображение и слово не бывают адекватными друг другу, тем более, когда сущность картины не в материальности предмета, а в неосязаемости настроения. В описаниях остается место для чуда перевоплощения формы и цвета в чистую духовность.

Иерусалим (Йонатан Амир)

Немногие это знают. Но в маленькой квартире в Гило живет и работает один из самых плодотворных, талантливейших и чувствительнейших художников в стране. Это Борис Лекарь.

Поскольку погода в Израиле не позволяет работать акварельными красками на пленере, Лекарю приходится делать только эскизы, а большие картины рисовать дома, по памяти. Эти картины размывают время и растворяются в воспоминаниях, соединяют местные пейзажи и другие, из прошлого, порожденные его воображением и процессом работы. Эти картины потрясают потому, что они показывают не то, что здесь, и не то, что там. Они показывают духовную сторону процесса всматривания, осознания и воспоминаний. Секрет силы его искусства, в числе прочего, в его способности существовать независимым образом в мире, который нельзя определить словами. Тут слова, как писал Джорджи Сарамато, «только камни, которые нагромождены, чтобы перейти реку».

ДОЛГАЯ ДОРОГА К СВЕТУ

Откройте ставни! Света! Больше света!

И.В.Гете (последние слова...
1832 год, сто восемьдесят
лет назад)

Начинать всегда неимоверно трудно, сколько всяких подходов нужно перепробовать, сколько вложить труда,

как долго надо свыкаться с предметом и вживаться в него, прежде чем почувствуешь, что ты им овладел, усвоил его язык и сам можешь говорить на нем.

Томас Манн.
Иосиф и его братья (доклад)

Для меня свет — носитель не только духа, но и Добра в нашем обычном человеческом его понимании.

Борис Лекарь.

Его киевская комната была подчеркнуто белой. За окном открывался вид на Русановский канал, мост через него, люди на мосту, фонтаны, выстроенные собственными руками. В комнате было нечто от монашеского аскетизма. Можно даже уточнить, пусть с некоторым драматизмом, в комнате нужно было уметь находиться и жить. Понятно, что жилище дает подсказку, принимая форму обитающего в нем человека. Комната была намерено обезличена отсутствием того, что принято в ней находить, признаков комфорта, следов досуга или работы, беспорядка, смятой подушки, пледа на диване, даже книг в ней почти не было. Только свет из окон и встречный отсвет со стен. Наверно, так выглядит свет в горах, на снегу, в отдельном надмирном пространстве.

Борис постарался остаться нераскрытым. Он сам этого хотел. Может быть, не явно, скорее подсознательно. Слушая собеседника, он слышал нечто доступное ему одному, все прочее, общение, разговор были в какой-то мере второстепенными. Не совсем убедительная и бездоказательная догадка, из тех, что приходят в голову задним числом. Так Моцарт за неделю до смерти беззвуч-

но дирижировал, лежа в постели. Он слышал звуки собственной музыки и управлял невидимым оркестром.

Передвигался по городу он неторопливо, не спешил, любил отставать от компании, хотел ощущать себя отдельно. Но старался удержать кого-то при себе. Его душевное состояние было непросто распознать, он не выводил его на поверхность. Был пристрастен, ждал одобрения и бежал от него. Единственно, чего не было, злой воли, ожесточения, заметной игры страстей.

В его последний приезд в Киев мы зашли в одну из художественных галерей на Андреевском спуске. Там выпивали. Борис опрокинул несколько рюмок, охотно подставлял пустую. Потом отправились к месту его временного проживания на улицу Белорусскую. По дороге захотелось пива. Взяли его в ларьке на Львовской площади. Начатую бутылку Борис сунул в карман пальто, горлышко торчало, он окончательно приобрел вид расслабленного киевского гуляки. Старые добрые времена... мне кажется, он наслаждался. Шел, наклонив вперед голову в неизменном берете, ухватив на груди ремень переброшенной через плечо сумки. Сформированная годами манера передвижения не изменилась, он как бы удерживал себя сам. Часто останавливался, поворачивал веснущатое лицо (голова побелела и лицо оставалось прежним) с внимательными глазами за линзами очков. Беседовали, не торопясь, сначала на улице, потом в троллейбусе. Зашли и встали в отгороженном поручнями пространстве возле задней двери. Более подходящее место для общения трудно представить. Борис приложился к бутылке. Интеллигентность сдерживала, а выпить хотелось. И то, и другое было заметно. Двадцать, тридцать лет прошло, мало что изменилось в дневной толчее, но то – давнее было началом, а это – зависанием во времени, аккуратной заплатой на прошлом, под которой «совсем ничего не видно». Потому и вспоминается отдельно от многих других, слитых ранней памятью воедино. Можно представить, он будто ждал какого-то сигнала. Человек сидит на берегу, он занят, он со всеми, он внешне спокоен, но он ждет. Вот сейчас прозвучит сигнал, он столкнет свою лодку и отправится в путь. Куда? Он не знает сам. Ожидание тянется долго, но когда-то оно должно разрешиться.

Художник похож на ваньку-встаньку, работа удерживает его в вертикальном положении. Желание переиначить природу вещей на собственный лад, дать им свой голос, свое видение входит в привычку, вторую натуру, у некоторых – даже первую. Ощущение гармонии, вызванное приобщением к творчеству, – не худшее из того, с чего можно начать жизнь. Раздвоение личности (здесь это можно сказать) на обычного человека и творца приходит не сразу. Удержать все вместе – непростая задача, каждодневное переживание и, в конечном счете, смысл жизни.

Бог, рождение Вселенной... никто не сможет сказать точно, как это было, но результат известен. В мире есть Свет. Народное сознание выразило это состояние точнее всего, выдав тезис, прочный, как гранитная скала – не разрушить, не переступить, только подчиниться. *Белый свет.* Таково состояние, в котором мы движемся и дышим, в котором обитают все ныне живущие, как рыба обитает в океане, реке или аквариуме. Наиболее обобщенное представление о присутствии человека здесь и сейчас – *на белом свете.*

Свет этот может быть призрачным, рассеянным, цветным, но его изначальное свойство, состояние, от которого ведется отсчет – белизна – сама по себе и вместе с тем вместилище всех цветов спектра, Определение из области физики звучит так. *Электромагнитное излучение видимого диапазона, которое вызывает в нормальном человеческом глазе световое ощущение, нейтральное по отношению к цвету.*

Белизна рациональна, как сложенный веер, распадающийся на красочные части. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Первая буква слова – подсказка: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Наверно, когда-то гимназисты придумали, сейчас такое (из семи букв) трудно сочинить. Не потому, что тяжело, просто мы это уже проходили. Осилили и умчались за чем-то новеньким.

Заблудиться очень просто, тем более в физике. Белый свет. Цвет и свет. Уф... То ли дело практика – становись и рисуй, передавай настроение, отстаивай достоверность собственного взгляда.

В живописной композиции существует один вопрос, обуславливающий движение и равновесие красок: где источник света?

Осип Мандельштам

Вся история визуального искусства со времени отделения его от иконописи – это история открытий: перспективы, построения композиции, смены живописных материалов (от темперной до масляной живописи), перехода изображения со стены на доску и далее – на холст. *Свет в живописи* одно из таких открытий. Начало уходит в далекое прошлое, но история, безусловно, имеет своих продолжателей и сегодня. Ведь свет вмещает в себя различные состояния, заложенные в природе нашего чувствования. Свет и тьма являются двигателями любого действия. Свет вводит зрителя в живописную среду, тьма создает ощущение тайны и драматизма. Впадая отчасти (но не слишком) в богохульство, живопись можно уподобить акту творения вселенной. Без света это событие не могло бы состояться. Но это не только техническое освещение места действия, извлечение и излучение света – это и есть рождение картины.

Воспоминание из детского далека. Когда в плохом кинотеатре гас экран в зале немедленно начинался топот, свист и крики: Свет! Свет! Сапожники!... Именно так, старожилы (то есть люди в возрасте) могут подтвердить. Почему именно сапожники? Отсутствие света соответствует черноте гуталина? Так это нужно понимать?

Открытие света в живописи записано отдельной строкой. Микельанджело Меризи по прозвищу Караваджо (название местечка близ Милана, где он родился) прожил сравнительно недолгую (1571-1610), но полную приключений жизнь буяна и дебошира, убийцы (неясно, на дуэли или в уличной драке), и, вместе с тем, прославленного мастера живописи. Караваджо смолоду страдал от малярии, в Рим он попал в бессознательном состоянии, свалившись от приступа болезни у городских ворот, и несколько месяцев провел в госпитале. Он умер от приступа лихорадки, скитаясь по

морскому берегу близ Неаполя. Караваджо дожидался Папского указа, разрешающего ему вернуться на родину. Помилование, в котором он назван величайшим художником Италии, запоздало всего на несколько дней.

Судя по биографии, трудно представить большего смутьяна и бунтаря, но революцию Караваджо произвел в живописи. Из взаимодействия темного и светлого художник создает собственное средство эмоционального воздействия. Не просто сопоставление (рядом) светлого и темного, а их взаимодействие через цвет, накаленный до белизны на свету, и отдающий свой жар сгущению тени, заполнению затененного пространства угасающим светом. При контрастном освещении, выхватывающем из темноты центральные события картины, художник смог вернуть свет тени, заполнить его цветом и погасить. Драма разрешается в ночном противостоянии, противоборстве света и тьмы. Тьма не вечна и не черна, в сгущении мрака непременно что-то происходит. Это не просто так себе – бесцветный и безликий сумрак, это отдельное и очень значительное чувствование... *помнишь ли звуки трубы заунывные, капли дождя, полусвет-полумглу (Н.А.Некрасов).* Полусвет, полумгла... Разные виды искусства не совпадают по изобразительным средствам, но имеют точные аналогии. Состояние света и его производных (полусвет-полумглу) нужно уметь передать. И разглядеть в них живое действие.

Со времен Караваджо живопись получила новое измерение. Нужно сгустить тьму, как Караваджо, сделать ее почти неподвижной, густой, буквально, твердой и вместе с этим сохранить в ней жизнь. Столь демонстративные открытия в области изображения имеют метафизическую сторону, они открывают нечто существенное в самом человеке. *И свет во тьме светит и тьма не объяла его.* Евангельские слова растеклись по миру, как доказательство жизни. Вот задача, которую Караваджо пытался решить средствами живописи. Потому что свет – это жизнь.

Диоген расхаживал днем с фонарем, смущая древнегреческого обывателя, и демонстративно искал человека при свете масляного светильника. И не находил. А Жорж Де Латур нашел человека при свете свечи. Де Латур – последователь Караваджо, философствующий лирик, отчасти мистического склада, проживший малособы-

тийную (тем более в сравнении с Караваджо) и вдвое долгую (1593-1652) жизнь. Некоторое время работал в Париже при королевском дворе. Де Латур сделал свечу главным объектом своих картин.

Персонажи Де Латура живут в полумраке, рассеянном пламенем свечи. Свеча присутствует как основной элемент изображения, она – средство освещения и, вместе с тем, источник жизни. Иногда мы видим не самую свечу, прикрытую другими предметами, а всего лишь свет. Люди собраны вокруг, вместе или поодиночке (последнее чаще) и находятся в личных взаимоотношениях с этим светом. Такое впечатление – свет погаснет, и они исчезнут, не для нашего обозрения, а физически. Игра со светом, пламенем свечи сделала Де Латура мистиком, впечатление таково, что сам он бродит где-то совсем рядом, всматриваясь в наши лица при свете колеблющегося пламени.

И вот два столетия спустя, в дополнение к итальянцу и французу художественное исследование света продолжил англичанин Джозеф Тернер (1775-1851). В Лондоне, в скромном доме на берегу Темзы художник предавался экспериментам, после длительного пребывания в полумраке переживал и пытался запечатлеть вспышку света из резко распахнутого окна. Начиналось с классических пейзажей в духе любимой Тернером живописи Клода Лоррена, с открывающимися туманными далями, стадами овечек, водопадами, кипарисами, мостами и скромным присутствием человека в ландшафте, с влюбленностью в реальность..., началось с этого, а пришло к произвольному конструированию этой реальности –, форсированным световым эффектам, искусственной природе самого света – не реального, а таким, каким его хочет создать художник. Тернеру хотелось что-то изменить в видении, передать личное, собственное ощущение. И он начинает передвигать на свое усмотрение пейзажные формы, меняя масштаб, массы, цветовые пятна.

Сейчас многое известно и, главное, получило признание, а тогда это – поиски способа, подсказки интуиции, неясная цель первооткрывателя. Дальше дело зрителя – присоединиться, узнавать или нет, возмутиться или одобрить... Художник ищет дорогу. В пустом пространстве. Море, свет, небеса, земля и присутствие человека. И еще колорит, движение краски, движение кисти, подчиненное

эмоциональному состоянию мастера... Перевод реального факта в чисто эмоциональное впечатление от увиденного.

Свет в живописи – необходимый инструмент построения картины и вместе с тем сам по себе огромный соблазн. Если искать связь с высшим духовным содержанием творчества, на пределе, отпущенного природой (или все таки Богом?) человеку – то именно здесь. Древо жизни питается светом.

Конечно, сравнивать с великими – неблагодарная задача, но иначе и стараться не стоит. И это даже не сравнение. Это путь, выбранный самим художником. Он идет по нему, вслед за теми, кто прошел раньше. Делает открытия (можно сказать и так), но, еще вернее, утоляет собственную жажду видения.

Игра со светом... как кажется, художник Борис Лекарь подвергался этому искушению в самом непосредственном религиозном понимании этого слова, насколько буквально совпадают религиозный (креативный) и творческий опыт. По сути, словесное (вербальное) и зрительное совпадения не случайны. Как увидеть и передать мир? Нужно найти подходящее место, вроде архимедова рычага, чтобы как следует напрячься и начать действовать.

Начинал Борис Лекарь еще в Киеве, портретами друзей, «ночными» натюрмортами с «говорящими» предметами, утварью. Израиль дал художнику пространство, воочию и во плоти: земля, почва, зрительные эффекты, которые непосредственно подтверждают значимость событий – прошлых и нынешних. Буквально и наглядно. Это ощущает каждый, побывавший в Израиле, в царстве света и камня. Время здесь удалено из истории, всё, известное издавна, за тысячи лет до нас, происходит здесь и сейчас. Это трудно пересказать, это нужно видеть. А дальше... Как перенести в материал хотя бы частицу увиденного, как рассказать, передать настроение, пафос... Здесь можно побороться с самим Богом, и, как Иаков, остаться непобежденным (поврежденное бедро – пустяк в сравнении с масштабом события, тем более при нынешнем уровне протезирования).

Религиозный посыл в движении Бориса Лекаря очевиден. Потому что творчество в таких обстоятельствах – та же религия. Оно открывает образ Бога в образе Израиля. Художник подбирает для

этого подходящий инструментарий, как подбирают отмычку для сейфа. Инструмент Бориса Лекаря – действие света.

Кажется, еще совсем недавно он показывал холсты, размером с небольшой киноэкран. В приглушенном комнатном свете изображение не сразу удавалось разглядеть, только потом, когда глаз привыкал, становились узнаваемы призрачные очертания, застывшая тишина, состояние, которое посещает нас в заветные минуты душевного покоя. Скорее всего, это было похоже на прозрачность тумана, на границе смены дня и ночи или, наоборот, ночи и дня. Последние мгновения присутствия света или его начало.

Понятию *звучание краски* трудно подобрать сравнение из области музыки, там звучание – конкретно, здесь – образно. Предельная выразительность, которой можно достичь – так это можно понимать. В этом смысле *черный квадрат Малевича* – это тоже музыка, похожая на марш Шопена. Дальше некуда. Можно спорить о художественных достоинствах и даже эзотерическом (любимое определение интерпретаторов) смысле *квадрата*, но сравнить его с чем-то другим просто не приходит в голову. Чернота. Беспросветный мрак – физический и душевный в художественном исполнении.

Но может быть нечто иное, даже противоположное – уход, истечение цвета, его последнее сопротивление перед исчезновением, растворение в темноте. Конец и начало одновременно. Музыка покоя, остановленного мгновения. Такие пейзажи удачно называть обобщениями: *Вечернее*, *Сумеречное*, *Ночное*, чтобы подчеркнуть застывшую насыщенность момента. Состояние природы, переданное как душевное переживание, квинтэссенция, предельная выразительность, которой художнику удалось достичь.

Израильские пейзажи Бориса Лекаря погружены в безмолвие, в вечность. Возможно, сильно сказано, но, ввиду отсутствия материальных свидетельств, можно согласиться. Пусть остается *вечность*, будет, с чем сравнить, при случае. Работы Лекаря заслуживают того, чтобы в них вглядеться. Кажется, состояние буквально перетекает капля за каплей, песчинка за песчинкой, незаметно они сдвигаются, это движение можно расслышать. Можно было бы подключить иронию, но художник предусмотрел и это.

Архитектор, прочно сидящий в Лекаре, не дал ему уйти от детали – бесплотной, почти прозрачной линии-модуля, фиксирующей статичность изображения.

Оптическая среда над поверхностью вод, пустынь и гор более всего подходят к определению вечности, насколько мы способны ее осознать в своем человеческом измерении. Здесь Творение Бога не отличается от творений мастера, какими видит его художник. Джакометти, Мур – великие экспериментаторы и преобразователи форм выглядят как продолжатели работы Создателя. Это нужно уметь передать, но еще раньше и вернее это нужно суметь прочувствовать.

Говорят, художественная концепция – целостная разработка собственного взгляда на мир, визитная карточка художника, Теперь без этого никак нельзя. И это правильно (концепция – так концепция), каждому свое. У Бориса Лекаря – это природа чувствования. Природа и присутствие легенды, одушевленной истории. Декорации не нужно придумывать, вы просто находитесь на месте происшествия, стоите и рассматриваете, где всё это было, и происходит сейчас. Парижские акварели одного и того же времени, написанные в одной манере, выглядят эмоциональным контрастом – пространство природы и пространство цивилизации, в меньшей степени дополняют, в большей – опровергают друг друга. Значит, дело не в исполнительской технологии, разгадка – в авторском чувствовании, не в стилистике, а в художнической интуиции, в том, что передается без объяснений: цивилизация – предметна, природа – образна.

Сфуммато – сгущения и разрежения света, марево, которое висит в жаркий полдень над разогретой землей. Всё именно так. Почему? Нужно ли автору отвечать на этот вопрос? Он так видит. И под влиянием этого видения трудно представить, увидеть Израиль по-другому. Можно, конечно, (почему бы нет?), но особость, выразительность взгляда Бориса Лекаря и его результат бесспорны. И так же цельно запоминаются.

Считается, что жанры искусства живут, не пересекаясь. Тема одна, а средства выражения разные, достигнуть совмещения не

удается. Но где-то сущностные свойства искусства должны сойтись, в общей точке, фиксирующей природу человеческих чувств, вне зависимости от вкусовой восприимчивости к отдельным жанрам. Эта общность относится к тому, что может нам дать искусство в целом, без оглядки на особенности органов чувств и предпочтения интеллекта.

И, кажется, художнику Лекарю удается добиться совпадения. Его работы живописны и музыкальны. Не зря он сам называл их Этюдами (название, имеющее отношение к разным видам искусства).

Можно вспомнить и об Опытах (эссе). Что ни говори, в работы Лекаря трудно войти сразу, в них нужно погружаться постепенно, шаг за шагом, усилие за усилием, преодолевая сопротивление поверхности изображения. Это непросто объяснить, но это легко почувствовать. Они передают не столько состояние автора, а состояние вообще. При объяснении можно нарваться на иронический комментарий, при разглядывании – так не скажешь.

Трудно сказать, насколько сознательно художник Лекарь переходит от мира видимого к миру сенситивному, на границе чувств и интеллекта, добавляя к работе зрения ощущение Всеобщего. Его можно передать отдельной нотой, звуком, а еще точнее, ощущением тишины. Тишины – лучше всего, покой выглядит либо банально – «покоя в жизни я ищу», либо метафизически – за пределами бытия.

Мы отталкиваемся от понимания, что хотел сказать художник, а вернее, что подсказал художнику мир. Им не обойтись друг без друга. Есть одно свойство, которое многое объясняет. Это – поиски гармонии, напряженного, насыщенного состояния, сродни божественному: «и увидел Бог: это хорошо». Нечто вполне реальное подсказывает нам, что к художнику Лекарю это имеет отношение. Конечно, любое сравнение содержит собственное измерение, и не нужно брать на себя слишком много. Но ведь, действительно, хорошо...

То, о чем мы догадываемся, глядя на опыты Бориса Лекаря, объясняет суждение Томаса Манна: «... богу не обойтись без человека, человеку – без бога и стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой. Ведь и богу свойственно раз-

витие, он тоже изменяется и идет вперед: от демонизма властителя пустынного космоса к одухотворенности и святости; и подобно тому, как он не может пройти весь путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиваться без бога.»

Вот это желание, попытку одухотворить материю мы наблюдаем в работах Бориса Лекаря. *Всё* сразу состояться не может, никому не под силу (и, кстати, зависит не только от художника, но и зрителя), но нечто важное удалось. Мы при этом присутствуем. В поисках аргументов не стоит забывать и о физике. Сила света материальна – можно измерить поток, давление, которому мы подвергаемся, истечение энергии – солнечной, космической. Повидимому, и божественной. В свете это сочетается, как ни в чем другом... Сияние, сфокусированное над головами святых, нимб вокруг головы – это тоже свет. Или устойчивое свечение чего-то, удостоверяющего жизнь, как таковую. Свет самоценен и вместе с тем олицетворяет святость, силу Добра. Он даже выпадает за пределы живописи. Но он есть, и художник, как, впрочем, и другие, способен его почувствовать. Нужен только особый склад натуры, настрой, желание передать это ощущение светоносной сопричастности. Состояние, которое трудно определить рационально. Оно либо есть, либо нет. Художник Борис Лекарь ощущал это состояние энергией собственной души.

Можно представить себе человека, стоящего перед входом в пещеру (извечный символ подсознания) и пытающегося заглянуть. В нее, в себя. Тревожно, но желание разглядеть, что там внутри, пересиливает. Значит, нужно идти. Мы так и движемся, ощупывая рукой стены, надеясь, что впереди прояснится. Иногда, и вправду, проясняется. Осознание этого процесса – огромная работа и возникает вопрос – зачем? Ответ у каждого свой, но ясно, что без света здесь не обойтись.

_ВЫСТАВКА

Дворец Конгрессов в Иерусалиме

Наташа и Борис Барбой прожили с Борисом Лекарем лет двадцать бок о бок, дружили, путешествовали вместе, зовут его иногда по-родственному Борькой (в Израиле такого рода упрощение распространено), им есть, что вспомнить.

– Представь себе, – говорит Наташа, – Дворец Конгрессов в Иерусалиме. Огромный зал, на стенах – картины, рисунки, а под ними в инвалидных колясках сидят авторы. Как правило, молодые ребята с расстройствами психического и физического здоровья. Работы все очень яркие, праздничные. Народа полно, люди ходят, осматриваются. Всё, как на настоящей большой выставке. Даже как-то забываешь, что перед тобой больные подростки, постоянно живущие в инвалидном доме. Сейчас все они счастливы. Боря устроил им этот праздник. Не знаю, сколько лет он к ним ходил. Он их учил рисовать, работать с красками, он им показывал слайды из своих поездок. С каждым он работал отдельно, искал способности, иногда находил, но, главное, он вносил свет в их однообразную, убогую жизнь. В этот инвалидный безрадостный дом, в эти стены... А теперь вот устроил выставку в одном из престижнейших залов Иерусалима.

До самого последнего дня затея казалась совершено невозможной. Боря куда-то звонил, просил, сердился, кричал, и добился своего. И вот они сидят нарядные, гордые посматривают на нас – здоровых людей и чувствуют свою значимость, свое умение. Мне одна девочка так и сказала, когда я ее похвалила: - Я могу намного лучше...

Потом выступали официальные лица. Выступил сам Боря. Боже, как он волновался. Он шел вдоль стен, подходил к каждому, знакомил, подробно оценивал работу, автор сидел тут же, слушал, как его хвалят, и расцветал, а мы шли толпой следом, останавливались, и смотрели... здесь было больше от театра, чем от нашей каждодневной обыденщины. Представление того, какова должна быть жизнь в идеале, в какой-то неведомой стране, где все рас-

положены и любят друг друга. Не нужно забывать, все эти люди страдали тяжелыми расстройствами психики, были в крайнем состоянии, куда только может завести болезнь. Трудно вообразить, сколько требовалось любви, труда, настойчивости, чтобы так их преобразить, и устроить всем праздник – им и нам. Было это лет восемь тому назад, Боря свободно знал иврит, но тут от волнения стал заговариваться, путал английские слова с русскими, русские с ивритом, потом изрекал что-то малопонятное. Ощущалось напряжение, чего ему все это стоит. Это был настоящий триумф. Ему эти занятия давались с громадным трудом. Он отлеживался, принимал лекарства... и продолжал. Когда он ушел, дирекция учреждения решила воспользоваться опытом. Пригласили методиста, еще кого-то. Но ничего не вышло, больные не приняли. Без сильного движения души это нельзя сделать, деньги здесь не помогут. Вот он и показал.

– Кому и что? – уточняю я.

– Есть нечто такое, что нужно делать без денег. Деньги не имеют значения. Это общая характеристика отношения ко всему, к друзьям, к детям,.. как он относился к старикам, к маме... – Продолжает Наташа. – Мама была в курсе всех наших дел. Мой Боря работал в авиационной промышленности. Если в новостях сообщали об успехах, Татьяна Самойловна тут же нам звонила и поздравляла.

– А как соблюдался режим секретности?

– Маме можно...

... И вот еще. Это важно! За время пребывания в Израиле у Бориса Лекаря развился странный комплекс. Судите сами. Приехал в Страну (так здесь часто называют Израиль), и буквально все у него пошло гладко, лучше и не бывает. Сразу получил интересную работу, встретил любимую женщину, у близких все сложилось хорошо, обзавелся друзьями и приятелями. Творчески работал много, время было. Поездил по разным странам. Именно, как хотелось. И тоже удачно. Получил имя, признание...

Казалось бы... Но изнутри его жгло. Нужно быть Борисом Лекарем, чтобы понять. Как же так? Все, буквально, удается... Когда вокруг столько трудностей, люди напрягаются – не скажешь, что

за кусок хлеба (впрочем, некоторые и за кусок), а он счастлив. Ему хорошо. Тут что-то не так.

И у художника Лекаря развился комплекс вины. Как это ему может быть хорошо, когда другим – очень по-разному, не всегда и не совсем...

Это его смущало, тревожило. Как же так? Он искал путь исцеления. Все время что-то предпринимал. И после выставки во Дворце Конгрессов, подведения итогов многолетнего бескорыстного труда он сказал Леониду Финбергу: – Ты знаешь, мне кажется, я заслужил право жить в Израиле.

То, что помню… (Григорий Медвецкий)

Я приехал давно, в семьдесят пятом году, я репатриант со стажем. У нас часто собираются люди, через мою квартиру прошло много народа. Новоприбывшим нужна поддержка, нужен совет, нужно простое участие. Некоторые уже кое-как освоили язык, другие нет, одни имеют работу, другие еще не могут устроиться. В общем, масса проблем. Просят рассказать о нашей адсорбции, что было тогда, а что сейчас. Мы через все это прошли. Что было, то было. Как-то я увлекся, чувствую, жена толкает меня ногой под столом. Поднимаю глаза и вижу лица. Я их буквально свои рассказом испугал. Страх и угнетенность. Они шли, чтобы услыхать, как может быть хорошо, гладко, а я им тут рассказываю… Но ведь все так и было. Мы тоже учились жить и привыкали постепенно. Совсем не просто, и совсем не так страшно, как это можно вообразить. *Савланут*, что значит, *терпение*. Так у нас говорят. Подождите, все будет, но не сразу. Стакан полупустой, или полуполный? Кто как видит. Я вижу полуполный. Нужно иметь точку зрения, и все получится. Мы учились жить в Израиле с улыбкой. Сделали, расплатились, побежали дальше…

Что о моей прошлой, киевской жизни… Мы жили в Троицком переулке, всего десять домов до выхода на Мало-Подвальную, начиная с улицы Короленко. У Булгакова в «Белой гвардии» она именуется Мало-Провальной, но с той поры много лет прошло. Мы жили в угловом, самом высоком доме, но мы жили в самом низу. Квартира, многократно перегороженная, пять семей. Двадцать второго июня началась война, а двадцать третьего отец уже был в армии. Кажется, он был политрук. Пропал без вести, мы получили извещение. Потом я ездил в Москву, в архив Министерства обороны, там подтвердилось. Отец погиб в июле, я родился в октябре, друг друга мы не видели.

А дед со стороны отца жил в нашем дворе, невысокий, сухой, всегда в кепке. Раньше был кузнецом, почти не улыбался. Ходил в синагогу на Подоле, после его смерти осталась моя бабушка, она дожила до глубокой старости. С другой стороны, в роду были красильщики. Они рано умерли. А с мамой было так. Заехал боец Красной армии, отдал ее с сестрой в детдом, там они выросли.

Еще со школы я дружил с Витей Лихтенштейном. Его отец – Ефрем Исаакович, профессор, врач, был моим кумиром. Потом, когда мы повзрослели, сформировалась компания, и появился Боря Лекарь. Чуть постарше нас, уже архитектор, переехал из Харькова, играл на гитаре. Яркий, веселый молодой человек. Умел расположить к себе. В компании была девочка Маша Гринштейн – красотка, умница, только что английскую школу закончила. Она стала Бориной женой.

Я учился в строительном институте, на вечернем отделении, и работал техником в Институте текстильной промышленности. Потом я перешел в контору по наладке. Для того времени это было знаменитое киевское учреждение. Не сомневаюсь, ветераны могут подтвердить. Мы – профильные специалисты разъезжали по всей стране, помогали устанавливать и запускать промышленное оборудование. Вся радость была в этих командировках, сделал работу, сдал, договорился с местным начальством и можешь уезжать. Остальной срок досиживаешь себе дома. С этим, конечно, боролись по мере сил. Но таков был сам принцип работы – ка-





Виктор Лихтенштейн – врач по профессии, самобытный художник и поэт был близким другом Бориса Лекаря. Вот здесь (на очень старой фотографии) они путешествуют по Иссык-Кулю. Год 1972. Витя стаскивает с грузовика осла. Друзья, как положено издавна, путешествовали пешком, иногда подъезжали на попутных машинах, осел нес этюдники и спальные мешки. За время путешествия с ним сдружились и расставаться не хотелось. Но что делать ослу в Киеве? Здесь другая фауна...

167



чество и быстрота, иначе какой интерес. Однажды узнали, готовится проверка, где мы и что. А мы сидим себе в Киеве. Рванулись в такси на вокзал. По дороге, на улице Ленина я вышел, чтобы пассажира выпустить, и столкнулся нос к носу с заведующим отделом кадров, который мне командировку подписывал, в общем, знал, где я сейчас должен быть. Надо же, чтобы так «повезло». Он рот открыл, я гляжу в упор и мимо. Заскочил назад в машину и на вокзал. На следующий день комиссия приезжает, мы на месте. Никуда не уезжали. Разбираться не стали, работа сделана хорошо, претензий нет. Этой встречи мне завкадрами не простил. Когда я уезжал, он высказался от всего своего сердца. Или что у него там. Вы еще увидите, он к вам еще с автоматом приедет. Но я, как понимаете, не приехал. А родное начальство уговаривало. Грицько, куды ж ты. Тут твое мисцэ... Грустили по этому поводу. Разные люди встречаются. Это верно...

...Мы стояли в коридоре, смотрели в вагонное окно, за окном хлестал ливень, по стеклу лилась река. Внизу под нами был сплошной лес зонтиков, из-под которых иногда выглядывали лица. Нас провожало много людей. У меня было чувство всех отъезжающих,



я не увижу этих лиц никогда. И от этого было очень тоскливо, и дрожь шла по телу. Уезжал я с женой, мамой и двумя детьми. Потом был пограничный Чоп и непременные в ту пору издевательства. Нас продержали два часа и начали досматривать за двадцать минут до отправки поезда на Братиславу. Выворачивали чемоданы, перетряхивали. Нужно было успеть все собрать, уложить... Жуткое состояние. Мама несла цветок в фарфоровом стакане. Химический лабораторный стакан из технического фарфора. Фарфор? Как? Нельзя. Она спорила, они хотели забрать, она хотела оставить. Потом почему-то разрешили. Я и сейчас вижу, как она идет к поезду с этим цветком в стакане. Так мы уехали. В Австрии было место сбора, через два часа самолет летел на Тель Авив. Нам повезло, не пришлось ждать. Везли в аэропорт с вооруженной охраной, с собаками. На следующее утро, 21 апреля – Израиль. Жара, асфальт. Градусов тридцать. Все накалено. Бодрость и тревога, как всё будет.

Приехали мы в Хайфу. Поселили нас в ульпане с квартирой и питанием, тогда было так. Шесть месяцев давали на изучение иврита. Жена – музыкант, пианистка. Волновалась, как устроится, музыкантов много, мест мало. Купила вязальную машину, училась

вязать. – Тебе, – говорит, – хорошо с твоими кондиционерами. Страна жаркая, ты устроишься... И, представьте, нашла работу за две недели, получила предложение в консерваторию. В Израиле все наоборот. Киевская Музыкальная школа – это их консерватория. А киевская Консерватория – Академия музыки. Нужно было ждать до осени, но она устроилась. А я ждал четыре месяца. Проектный институт, единственный в Израиле. Считалось, что хорошо, но тут



наши друзья из Иерусалима пригласили в гости. Я приехал. Здесь ни работы, ничего, а в Хайфе уже все есть... Я ходил и думал... если я сюда приехал.... Город необычайно интересный. Сильная энергетика, я ее буквально ощущал, и замечательное чувство просто от того, что я здесь.... Белый иерусалимский камень. Город сразу вошел в мое сердце. И мы с женой решили жить в Иерусалиме.

Интифады тогда не было, мы спокойно ездили по *территориям*, останавливались, знакомились, разговаривали. В Вифлееме, то есть, Бейт-Лехеме по-нашему, закупали продукты, там у нас были знакомые арабы. Один закончил Киевский университет, держал магазин вин. Вообще, здешние люди, получившие образование в Союзе, были не редкость. Не нашли применения своей профессии, откры-

ли магазинчики, неплохо владели русским языком. Они были к нам расположены. Кроме того, учтите, это торговля. Они были заинтересованы, чтобы мы приезжали чаще, чтобы приводили приятелей. Так завязывались связи, одежду покупали, шампанское. Здесь было намного дешевле. Рядом церковь с колыбелью Христа. Каменное, выдолбленное ложе... Все это не оставляло равнодушным.

Гило – новый район, который примыкал к Вифлеему. Мы там



получили квартиру. К тому времени мы организовали строительный кооператив. Идея была, принимать евреев из России, способствовать адсорбции и одновременно расширять бизнес. На стройплощадке были также арабы, все общались между собой на такой смеси, непонятно, где кончается иврит и начинается арабский. Мы взяли ссуды, старались повышать зарплаты, но возможности такой не было. Кооператив за два с половиной года обанкротился, остались долги, я с приятелем еще двенадцать лет их выплачивал.

Зато я познакомился с Израилем, с людьми. Мы строили в небольшой долине Эмет Аила, где когда-то Давид сражался с Голиафом. Мы выиграли подряд. Я отвечал за два поселения, строили двухэтажные жилые дома. В одном – евреи, которые приехали из

Курдистана. Очень своеобразные рабочие люди. Сильные, простые. Работоспособные, не хватают с неба звезд, но очень крепко стоят на ногах. Они пьют арак – водку на анисе. Все восточные евреи пьют арак, они на нем выросли, еще крепкий кофе, конечно, крепкий чай.

А в другом поселении были выходцы из Индии, смуглые, я нигде больше таких людей не встречал в Израиле. Очень добрые, очень гостеприимные. Они даже не пьют, они глушат виски. И когда не придешь, они предлагали, буквально умоляли с ними выпить. Жара, тридцать градусов, но для них это не проблема.

Потом я поступил в фирму, которая строила Хадассу Эйн Карем – самую большую больницу на Ближнем Востоке. Я там командовал отделом кондиционирования. Этаж с двадцатью тремя операционными, необычайно сложный для строительства – кондиционеры не простые, а с биофильтрами. Смесь разных измерительных систем. Отдельно метрическая русская, отдельно английская, отдельно американская и канадская. Везде единицы, которые не знаешь, как перевести друг в друга. Метры, футы, галлоны, голова кругом. Идет совещание, задают вопрос и начинаешь лихорадочно пересчитывать. Я буквально ночью просыпался с криком. Начальник был по фамилии Фридман, еврей из Южной Африки. Жена у него – Анька, так он ее звал, русская. Фридман мне кричал: – Ну, ты, Гришка Распутин, ты можешь быстрее или нет?.. А я считаю, как один объем перевести в другой. Потом, когда все встало на место, я бывал у него дома, в гостях, но до этого... Должность требовала от меня ответственности. Жена мне говорила: – Уйди оттуда... Но я не ушел, я справился.

Восемь-десять лет приблизительно прошло, мы освоились, а тут стали давать землю под застройку. Под котеджи или виллы. Подешевле или дороже. Мы решили, возьмем, где дороже. Такая логика, где дороже, там лучше. У арабов владельцами земли является хамулла. Это клан, у клана есть глава, но нужно согласие всех членов. Вроде бы, согласие получили, все подписали с адвокатом, который представлял нашего подрядчика, срок пошел, когда должны начать работы, а работы нет. Оказывается, объявился дальний родственник и все отменил. С ним не договорились, а он – против. По крайней мере, так нам объяснили. И наш подрядчик сбежал с нашими деньгами в Бразилию. Можете себе представить.

Но тут нам по секрету объявляют, он хочет вернуться и предлагает договориться. Без шума и с большими для нас потерями. Но хоть что-то. Так эта стройка и закончилась.

В год, когда приехал Борис, за один месяц прибыло восемьдесят тысяч, а всего за год – больше полумиллиона. Можно представить небольшую страну, что здесь творилось. Но ничего, справились... А до этого Борис слал письма с тысячью вопросов. Он все хотел знать. Израильская жизнь такая, что не на все вопросы можно ответить, но я пытался.

И мы, наконец, встретились. Это было потрясающе, спустя много лет. Через две недели наступил веселый праздник пурим. Борис всегда был большой фантазер, с этим у него проблемы не было. Я был в пиджачке, подвязанным веревочкой, с кружкой и куском хлеба, бутылкой водки, Боря – в старой майке и длинных трусах, которые держались на подтяжках поверх этой майки. Так он входил в израильскую жизнь. Мы потешали публику. Боря чувствовал себя в этой роли всегда хорошо.

Потом у него начался приступ депрессии. Я оторопел. Потерянный человек, я знал его совсем другим. Мы часами бродили по району Гило. Встречались мы почти каждый день. Я был самый близкий тогда ему человек. Прошло три-четыре месяца, болезнь прошла, и увидел прежнего Бориса. У нас в Израиле он преуспел буквально во всем, даже не верилось, что это один человек. Нина – его жена, чудесная женщина. Принимали у себя дома художников, устраивали выставки. Кафе Нина. Сначала были русские художники, потом стали появляться израильские. Раз в месяц, мы обязательно встречались. Он выступал, стал говорить на иврите. Я все это хорошо помню, будто сейчас. Он, мама, Нина. Он умел говорить, но еще больше он любил и умел слушать.

Жили они в Гило. Началась интифада, и их район обстреливали. Для защиты детских садов, школ была построена стена вдоль южной границы Иерусалима. В квартирах с угрожаемой стороны вставили окна с пуленепробиваемым стеклом. Были теракты, несколько людей убили. Это угнетало. Но так все жили, и Борис так жил. И, мне кажется, в светлые дни своей жизни он был счастлив. Так я его помню.



Кафе Нина

Боря постоянно что-то придумывал, – рассказывает Наташа Барбой. – Раз в месяц собирал у себя людей, организовывал выставки. Многие художники в Израиле не имеют аудитории. Особенно приезжие, на первых порах, и потом. Они ведь из больших стран приехали, там художник – профессия уважаемая, можно сказать, романтическая. А в Израиле все проще и труднее. По крайней мере, для художника. Боря это чувствовал, хоть для него самого все здесь сложилось очень удачно. Имя у него было, постоянные выставки, признание. Казалось бы, чего хотеть, сиди и работай. А он взял на себя миссию. Раз в месяц обязательно организовывал дома выставку. Назвал галереей Нина, по имени жены. Приглашал, звонил, работы помогал привезти, если сам человек не справлялся. В их трехкомнатной квартире собиралось человек сто. Боря открывал выставку, говорил нужные слова. Нужные – для художника, потому что художнику важно, чтобы кто-то сказал о нем что-то хорошее, помог разобраться. И не только взглядом со стороны, а в себе самом. Он занимался детьми с психическими дефктами, но ведь и здоровым людям это необходимо. Почувствовать интерес к себе, самому выговориться, объясниться, обрести свежие силы. Всем это нужно, я, благодаря Боре, поняла. А он знал всегда, и, главное, знал, как это сделать не на словах... Это – труд, это – бескорыстие, это – лучшее, что может быть в человеке. И это –



большая редкость. Ну, и конечно... Если не выпивали, значит, выставка не удалась. Такого я что-то не помню. Ведь большинство были наши люди. И так, между делом, вроде бы, в шутку, из ничего, Боря многим помогал и помог...

И не только это. Борис был пацифистом. Взгляды в Израиле на этот счет сильно различаются. Борис, безусловно, был левым. Убежденным леваком. Но не человеком разговора и благих намерений, а человеком дела. Он постоянно искал и налаживал контакты с арабским миром Израиля. Он приходил к арабским художникам, знакомился, организовывал совместные выставки, сам участвовал. Он мог быть очень убедительным. Дружелюбие и открытость были налицо. Он преодолевал обоюдное недоверие. И ему удавалось...



ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕПАЛ С БОРИСОМ БАРБОЕМ

– Хочешь, я расскажу, как мы ездили в Непал? – Спрашивает меня Борис Барбой. – Борька (это так он зовет своего друга Бориса Лекаря) давно уговаривал, но меня не особенно тянуло. Но вот сын съездил после армии, горячо рекомендовал, и я решился. Борька мечтал увидеть Эверест, это у него с молодости, он даже занимался в Харькове в кружке по альпинизму. И часто мне рассказывал, как он хочет попасть на Эверест.

– Куда именно, я слышал, там вершина двуглавая?

– Я думаю, он бы выбрал. Мы встречали тех, которые спускались. Гордые ужасно. Один немец, профессор математики даже без кислородной маски взошел. Безумец.

– Немцы – люди принципа. Решил без маски, значит, без маски. Кислород значения не имеет. Главное, характер.

– Хорошо, что ты так думаешь. До этого мы заехали в Индию, в Варанаси. Святой город для индусов. Будда где-то рядом проповедовал. Раньше англичане на свой колониальный манер называли Бенарес, а теперь индусы вернули изначальное имя Варанаси.

Сын посоветовал гостиницу в самом центре. Мы зашли, особенно не осматриваясь. Хозяин уперся, дешевых номеров нет, остался самый дорогой и шикарный. Зато с изумительным видом. Расхваливал, будете довольны, смотри и наслаждайся. Балкон, четвертый этаж. Мы только с самолета, клиенты, что надо, в конце концов он нам этот шикарный номер навязал. Сбросили рюкзаки, открыли балкон, глянули на священную реку Ганг, стали устраиваться. Дымок снизу струится, идет себе и идет. Как то очень по домашнему, сладок и приятен. Я вышел, глянул через перила. И что я вижу. Это они покойника внизу жгут, как раз под нашим балконом. Горит костер, люди собрались, и усопший глядит сквозь огонь прямо на меня. Честно скажу, я удивился, стало как-то не по себе. Борька вышел, присоединился. Стали разглядывать, костры горят тут и там, как мы раньше на них не обратили внимания. Площадь вся, как на ладони, ступени вниз к Гангу, священные ступени, я это знал.

Отсюда отправляют по реке пепел сожженных, вернее, не совсем пепел, потому что после кремации остается немало. Есть ритуальная инструкция до какого состояния доводить погорельцев: мужчин, женщин, каждого по разному. А потом в реку. Это огромная честь, вот так закончить земные дни, достается она только избранным, низшую касту сюда не подпустят. Причем, честь не только для покойника, а для всей Индии, потому что дым этот укрепляет мистическую силу всей страны. Люди попроще, дети малые кремации не подлежат, их пеленают,

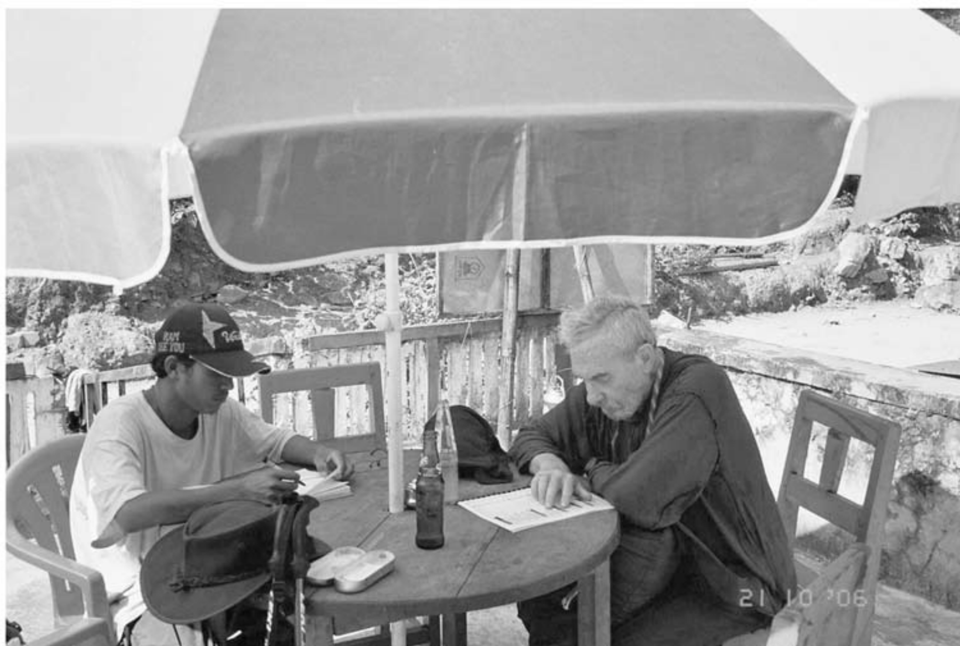


вывозят на лодке от берега, и там просто сбрасывают в реку. Все это мы наблюдали с балкона, хозяин не обманул, вид открылся такой, что нечасто увидишь. Тут же стирают что-то белое, сидят на этих ступенях, заходят по шею в воду, омываются. Увидели, что мы наблюдаем, руками машут. Свои люди. Полезное зрелище, если вникнуть, панорама жизни вне обычных наших пределов. Крематорий на свежем воздухе. На что я еще обратил внимание, Ганг течет как-то не так, как мы привыкли, не слева направо, а справа налево. Но это уже мелочь... Я за Борьку переживал из-за его впечатлительности,

но он чувствовал себя бодро. Правда, на следующий день побежал менять номер, но свободных не оказалось, так мы *с видом* и застряли.

Раньше не уедешь, спешить некуда, и мы стали бродить по городу. Тут можно много рассказать. Народ ездит на велосипедах. Нас узнавали. Здоровались. И мы вникали в некоторые местные тонкости. Важно, например, постараться не угодить под похоронную процессию. Будущему покойнику необходимо успеть еще при жизни прибыть на берег Ганга. Это крайне важно для счастливого посмертного существования. Потому человека при последнем издыхании хватают, заворачивают и мчатся изо всех сил, чтобы не опоздать к кончине. Улочки узкие, извилистые и с горы. Потому, если слышишь сверху крики, топот, нужно спасаться. Угодить под толпу, да еще с разгона, ничего не стоит, поэтому они издали предупреждают. Промчатся, ветер стихнет, тогда можно выходить, но осторожно, чтобы под следующую процессию (если можно так назвать) не угодить.

Все это мы с Борькой подробно рассмотрели и поехали дальше – в Непал. В местах, где мы были, народ не сеет, не пашет, а приспособлен под туризм. Дома народной архитектуры, лишняя растительность вырублена, масса маршрутов (треков), хочешь, идешь в гору с видом на Эверест, хочешь, в джунгли, тоже недалеко. Борька, ясно, собрался в горы, я колебался, и тут, «на счастье», подвернул ногу. По ровному иду кое-как, если без рюкзака, а в гору – нет никакой возможности. К тому времени мы оказались на дне огромного ущелья с отвесными стенами. Ночью – ни звезд, ни луны. Совершенно особое ощущение, начинаешь понимать, что такое свет, вернее, его полное отсутствие. У нас в самую темень, хоть немного, но что-то такое есть, а тут категорически – ничего. В девять часов тьма кромешняя, египетская. Борька говорит, я пройду, перед сном прогуляюсь. Через десять минут чувствую, кто-то рядом дышит. – Ты только пришел? – Нет, я давно вернулся... Оказывается, он шаг ступил, и назад. Ночью просыпаюсь, думаю, где я. Может, на другой планете или вообще умер. Ничего не болит. Руку поднес к глазам, пальцами шевелю и не вижу. Очень наглядное впечатление для креативной теории творения, как оно было, когда ничего не было. Свет – великая сила.



– Змеи были?

– У факира видел, но это потом. А тогда мы разделились. Боря – в горы, я в джунгли. Сын дал адрес проводника, он как раз отдыхал, только что с гор спустился. Пришлось ждать, пока наберется сил. В горы, говорит, не пойду, наглотался горного воздуха, теперь только в джунгли. Туда – за милую душу. И нужен еще один.

– Для чего?

– Я тоже сразу не понял. А пока мы сутки аклиматизировались. Женщины там интересные, цветастые, выстроились вдоль дороги, а мужики рядовые, серые брючки, рубашечки. Гуляем с проводником, я их обогнал, нога еще целая была, стою, жду. Вижу, они спешат изо всех сил. Что случилось? Оказывается, Борька решил сфотографировать местную красотку. Спросил разрешения, заснял, жестами объяснились, дама смеется, Борька ее чмокнул в щечку от избытка чувств. Что тут случилось. Муж тут же образовался.

– Муж?

– Сказал, что муж. Гражданский, может быть. Полицию вызвать хотел. У них, как в Америке, за такое в тюрьму сажают. Куда ей теперь, с такой репутацией.

– Жениться, наверно, нужно.

– Это один из вариантов.

– Или финансовый?..

– Не знаю, не видел. Удалялись мы очень быстро. Вообще, там есть сюрпризы. Часть дороги, до того, как разделиться – Борьке в горы, мне – в джунгли, мы шли вместе. Опять же через джунгли. И проводник предупредил, насчет хищников само собой, но кроме них могут быть партизаны. Это их места. Пугаться не нужно. Партизаны дорожат бизнесом, так что большого вреда не причинят. Но и отказываться не принято. Ну, конечно...

– Что, конечно?



– Действительно, выходят. Перегородили дорогу, вполне мирно, без оружия. Одеты привычно, видно, ночуют по-разному, не всегда под пальмой. Представляются: партизаны Маоистского фронта за освобождение Непала. Мы должны взять с вас революционный налог...

– А если нет?

– Так вопрос не ставился. И дают справку с печатью, что это революционная экспроприация, а не какой-то грабеж. Борька покраснел и говорит нашему проводнику: переводи...

– Тот этих партизан, наверно, и навел.

– Не спорю. Так вот, Борька ни с того, ни с сего. Я, говорит, из России, двадцать лет платил в комсомоле налог на революционное движение. И считаю, что полностью оплатил. И он оплатил. – Показывает на меня. – Где революционная справедливость?

Я подтвердил, что платил. Проводник перевел, и они стали со-



вещаться. Стоим, ждем. Все очень по-дружески. Наконец, вынесли решение. Давайте, говорят, половину. Меньше взять не можем, у нас время рабочее.

Борька говорит: – Половину дадим. Нам – революционерам не пристало торговаться.

Деньги были очень небольшие. Потом сфотографировались. На моем фото Борьки нет, он снимал.

Еще одну ночь мы провели в хижине на маршруте. Сходятся люди с разных треков, и коротают время в темноте. Вернее, лампа есть, но на бензиновом движке, почти не светит. Обстановка

походная. Разговорились с двумя молодыми немками, вернее, с одной, потому что вторая – глухонемая. Первая ей объясняет на пальцах, та только кивает. Глухая, зато видит в темноте. Узнали, что Борька – художник, удивились, видно, с нашим обликом не вязалось. Борька взял карандаш, лист бумаги и стал глухонемую рисовать.

– Как-то объяснялись?

– Нет. Только мычала слегка. Подружка разошлась, заглядывала Борьке в альбом. В конце концов всем понравилось. Борька портрет подарил....



– Наверно, все же, глухонемых рисовать легче. Звуки не отвлекают.

– Я говорю, она с подругой была. И вот еще, я запомнил. Шли по тропе, навстречу местные ребята и девчонка среди них. Ревет. Мы так бы и прошли, но Борька встал. В чем дело? Оказалось, у нее рана на ноге, порез внушительный. После этого мы застряли окончательно. Борька развернул свою аптечку. Рану обработал, забинтовал. Все ждали, дети, и мы...

– Прямо, как доктор Айболит в Африке.

– Представь, так оно и было, тем более, обезьяны по головам ходили. А потом я пошел в джунгли. Проводник крутил головой. Нужен еще один. Опасный маршрут. Сначала инструктаж, как себя вести, если что. С тигром, все ясно. Охотится он ночью, днем спит, разве только людоед попадется. Но всех сразу не съест, поэтому хорошо идти группой.

– Поэтому два проводника? – Догадался я.

– Я не уточнял. От носорога убегать не нужно. Он жмет на такой скорости, все равно догонит. Нужно спокойно заскочить за

дерево потолще и ждать. А когда он разгонится, отойти в сторону. Он траекторию изменить не может и с разгона влетает башкой... Мне показывали сломанные деревья. Это носорог их так...

– А у носорога сотрясение мозга?

– Скорее всего. Так что носорог не страшен. Самый хитрый – медведь. Тот бродит, где хочет. Выжидает. И на дереве от него не спрячешься, стащит, буквально, за штаны. Очень неприятный зверь. Все это я выслушал, и мы отправились. Странное ощущение, эти джунгли. Сверху обезьяны, снизу что-то на ноги капает. Идем мы, идем. Вдруг встали. Тот, который передо мной, палец ко рту приложил и замер. И так мы стоим, только слышно, как птицы щебечут на разные голоса. Наконец, первый проводник мой рюкзак передал второму, а сам полез на дерево. Мы стоим, второй мне прямо в ухо: – Не дыши, впереди медведь... Как-то они его услышали. Мы стоим, а тот, который на дереве, знаками показывает, что он медведя видит и ведет наблюдение. Минут сорок стоим, у меня ноги промокли. Тот, который рядом, шепчет мне в ухо: – Слышишь? Это медведь чавкает.

– Ты слышал?

– Думаю, да. Птицы шумят, но, вообще, слышно. Мы еще подождали, наконец, этот с дерева слез. Показывает, можно идти, только очень осторожно. Видим разрытый муравейник. Это для медведя самое большое лакомство. Если бы не этот муравейник, еще неизвестно, что бы с нами было...

– Муравьи, видно, вкуснее...

– Похоже, что так. Ну, и крокодилы, конечно. У меня снимок есть. Большая куча листьев, а изнутри, если присмотреться, глаз на тебя пялится.

– Ты уверен, что это крокодилий глаз?

– А чей же? Я почему так подробно рассказываю, будешь в Непале...

– Все равно инструктаж нужно пройти...

– Обязательно. Тут недавно один вернулся. Там теперь от слонов спасения нет. А этот, который... я ему адрес дал. И точно то же.

– На дереве сидел?

– Не хочет вспоминать, пока в себя не придет. Я и тебе могу дать. Сам все увидишь.

– Обязательно, как только соберусь. А где ты змею встретил?

– Это когда я Борьку ждал. Сидит на площади факир с дудочкой, играет, змея перед ним свечкой, головкой раскачивает. Туда-сюда, туда-сюда. Факир меня увидел, дудочку отложил, рукой машет, показывает. Подходи сюда, иностранец. Но мне не хотелось. Я только из джунглей вышел… после того, что я там насмотрелся…

Время было, я перебрал впечатления: Варанаси, дым от костров, партизанские встречи, вообще, всю нашу поездку… хорошо, что Борька меня уговорил. Хотелось встретить его чем-нибудь хорошим, когда он с гор спустится, тем более, скоро его день рождения, был повод. Я зашел в сувенирную лавку и купил ему Кама-Сутру. С большими картинками. Для полноты впечатлений.

Потом Борька появился. Совершенно счастливый. Они добрались до ледников, откуда начинается восхождение. Боря видел Эверест. Это была его мечта, и она сбылась. Энергия в нем так и кипела. В Киеве он гонял на мотоцикле, как бешеный, здесь в Израиле, вроде бы поутих, с годами. Но сейчас этот кураж чувствовался. Горы мог бы свернуть, не знаю, как Эверест, но все остальные наверняка…



КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

Тут появилась большая водяная крыса, жившая под мостками.

– Паспорт есть? – спросила она. – Предъяви паспорт!

Вот остров мой; с него прохладой веет,
Задумчиво дремучий лес растет,
И озеро спокойное синеет,
И лебеди скользят по лону вод!

Ганс Христиан Андерсен

В пространство между двумя этими фразами сказочник вместил целый мир. Жизнь из всего этого и состоит: из фантазии и несгибаемых обстоятельств, из радости и печали, из мечты и счетов за электричество, чтобы не сидеть в темноте длинными вечерами и не замерзнуть зимой. В мире все давно переплетено и взаимосвязано, только каждый ходит сам по себе.

Считается, что весь набор сказочных тем и впечатлений человек должен получить и успеть израсходовать в детстве. Взрослая жизнь не приспособлена для сказочных материй и вопрос – веришь ли ты в сказку, звучит по крайней мере наивно. Веру в сказку заменяют верой в бога и относятся к ней всерьез. Переход к монотеизму связан не только с историческим взрослением общества, но биологическим развитием каждого конкретного индивида. То же касается атеистов, которые привыкли полагаться на научное мировоззрение... сказки достаются людям с фантазией и обращены назад, в детство. Занятие это уважительное, хоть и не самое

перспективное. Так принято считать, хоть сами истории про добрых волшебников и сказочные царства никуда не делись, в модернизированном виде поодиночке и целыми колоннами они ведут наступление на трезвый и скучный реализм.

Потому что вопрос остается открытым, как вывести формулу счастья? Может быть именно ее нам не хватает для создания гармонии или, по крайней мере, душевного равновесия. Тонкая штука – это равновесие. Те, кому не хватает его в реальности, стремятся в сказку. Возможно, придуманную кем-то, но еще лучше созданную из собственных грез и фантазий. Вместе с тем, можно предположить, что добрый волшебник был достаточно энергичным человеком. Считается, что добро должно быть с кулаками. Это, конечно, самый крайний случай, но возможности революционного преображения материи (дадим такое определение волшебству) требуют подчас героических усилий.

“К великому огорчению театральных критиков я и сейчас считаю, что драма должна подняться до вершин кукольного театра.” Таково мнение Г.К.Честертона, к которому стоит прислушаться. Кукольный театр предельно достоверен, он не дает спутать жанры. Здесь вы можете двигаться в любом направлении. Вы можете вернуться в детство, не опасаясь подозрений в слабоумии. Вы – с виду законченный до уныния взрослый человек, но вот вы уже там, в детстве, среди папоротников и слонов, на самом краешке луны, с ногами в сапогах-скороходах, свешенными в открытый космос. Вам все по плечу, ошибки, заблуждения остались далеко позади. Вы знаете, чего не хватало вам в нашем обыденном, взрослом мире. Уверенности и волшебства. (Куража – подскажет бывалый жизнелюб.) Ощущения возможностей. Крыльев за плечами… пусть так… и не все еще потеряно, если вы способны откликнуться на сказку.

Кто больше нуждается в ней: автор или читатель (он же зритель)? Ответ не очевидный, по крайней мере, лучше с ним не спешить. Скорее всего, каждый имеет свой интерес. Как ни странно, расхожий для нашего времени вопрос: что хотел сказать автор, не имеет к сказке отношения. Со сказкой все ясно. Она по своей природе противостоит абстракции, ее нельзя составить из условных элементов. Чтобы придать повествованию сказочные свой-

ства, важно оставаться реалистом. Сказка требует достоверности. Не такой, как таблица умножения на задней страницы обложки школьной тетради, но не менее убедительной – достоверности цветных пузырей. Вот они летят, радуют глаз. Глядите, глядите... Как такое может быть? Но именно так и может. Что может быть необычного (для взрослого, подчеркнем, человека) в детской кукле или цветочной гирлянде? Все это есть, остается заполнить пространство, распахнуть шкатулку или чемоданчик, открыть дорогу воображению. Как всё просто! Но сделать это может только волшебник. Весьма редкое качество, можно сказать, явление природы. Эмоциональная начинка, выкрутас, позволяющий придать заурядному на вид предмету или явлению новое смысловое содержание. Создать образ и оживить его, ведь между образом и его реальным прототипом существует живая сила, а это уже совершенно сказочный инструмент.

Похоже на то, что с этой живой силой Борис Лекарь и экспериментировал. Нечто подобное можно увидеть в его инсталляциях. Первое, о чем заговорят специалисты, о художественности. За это они ухватятся. Много, мало или чуть-чуть ее не хватает. Можно предположить, если бы художник работал для специалистов с мухой в носу, он придумал бы что-то другое. Но здесь он придумал сказку. Кто усомнится в ее реальности? Можно взять лестницу (такая лестница есть в Иерусалиме) и взобраться за облака, а потом вернуться с неба на землю и начать жить по человечески. Или провести некоторое время во чреве кита. Не сказать, чтобы с пользой, и не сказать, чтобы без, по крайней мере, теперь известно, что переварить живого человека труднее, чем исторгнуть его обратно. Даже киту. А ведь это – крупнейшее млекопитающееся. Что тогда говорить об остальных.

Вот ведь, оказывается, бывает, что прочитанное или услышанное приобретает объем и становится личным достоянием. Это не иллюстрация, не картинка. Те тоже хороши, но в них нет главного: приглашения к соучастию. Это приглашение есть у Бориса Лекаря. Его истории не смешат, не огорчают, даже (о, тяжкое бремя познания) не заставляют мучительно задуматься. Они веселят душу. Представим себе, то, чего нет материально, но что присутствует в нас постоянно, и мы оценим все эти миниатюры. Пиратов Кариб-

ского моря, Индийскую гробницу... В какой жизни это было? И неужели с нами? Сколько воды, слез и шампанского (это кому как) с тех пор утекло. И тут эта гробница. Или Сотворение мира. С ума сойти. Опять это сотворение. А не хотите ли дворец в джунглях? И Осеннего купидона. Это еще что такое? Эх, если бы в полный рост, как в опере. Тогда не нужно напрягаться. Со слуховым аппаратом (если человек в возрасте), там все ясно. А здесь нужно напрячься. Даже если не рассчитывать на личную встречу с купидоном (все-таки осень), глянуть и вспомнить интересно. Как это бывает...

Есть такая литературная вывеска – Страницы пережитого. Страницы приключения, мечты (неважно, сбывшейся или нет), томлений. Мы останавливаемся, вернее, мы замираем, еще и еще раз. Удивительная простота, которая доступна только ощущениям детства. Улыбка, если только мы не опасаемся прилюдно обнажить собственные эмоции. Сказочник явно не боится. Он приглашает разделить вместе с ним это задумчивое веселье (эмоции пусть неочевидно, но соответствуют друг другу). Почему нам немного грустно? Может быть, потому что приходится далеко возвращаться. И потому сам взгляд кажется немного беспомощным. И мы говорим о некоторой неумелости, о несоответствии законам высокого искусства. Память отзывается неохотно, занятая более близкими и дельными с виду проблемами. Какая-то там Индийская гробница. С кем это было и где? Художник все сводит к трогательной игре. Можно дерзко сказать, что искусство здесь не самое главное. Просто так получилось, что средствами искусства. Но ведь воображение есть у каждого, больное или здоровое, от него никуда не денешься. Пусть не купидон, тогда ангел. Всему свое время. Волшебник решил завладеть нашим воображением и поделиться с нами. Чем именно? Своим видением мира. Он решил протянуть нить от первых всплесков воображения – когда мы еще верили в сказки – к нам сегодняшним, чуть разочарованным и отчасти голодным (если кто пришел на выставку прямо с работы) и от того умудренным опытом. Кажется, опыт вытесняет сказку за пределы нашего сознания. Так, по крайней мере, кажется. Но на самом деле это не так, пусть даже мы переоцениваем собственный оптимизм. Благодаря Борису Лекарю, это не так.

В последний приезд в Киев он вернул нам этот мир. Случается

нечто особенное, когда волшебник приходит в город. Время останавливается, Стрелки часов на городской башне замирают. Стража аэропорта открывает городские ворота. У волшебника нет ничего недозволенного, чемоданчик не значится в таможенной декларации. Это не валюта, не драгоценности, не предметы культа. Это всего лишь волшебство. Волшебник открывает чемоданчик, расставляет под стенами предметы своего искусства, своего ремесла. Стоит рядом и ждет нас. Остальное за нами, за горожанами. Смотрите...

А потом он уходит...

Всю жизнь я любил рамки и постоянно твердил, что самая широкая ширь еще величественнее, когда ее видишь в окно.

Г.К.Честертон.

Не только в оконной, но и в картинной раме... Добавим от себя...

В целом, повествание оказалось немного грустной. Это не особенности жанра, а состояние души. Понять творческого человека непросто. У него своя мера для увиденного, услышанного и пережитого. Его состояние так и останется явлением в себе. Тем более стоит поговорить о зримых образах той самой реальности, что дается нам в ощущениях. И сверх того, наделена сверхчувственным началом, которое остается и живет в нас впечатлением от увиденного. Это начало трудно отыскать намеренно, оно само находится в нужный момент и отзывается в нас благодарной памятью. Непросто оценить природу этого чувства, духовность – расхожее слово, его следует употреблять осторожно, отдельно для верующих и атеистов. А вот слово поэзия годится всеобъемлюще и без ограничений. Поэтическое начало – мы способны его ощутить.

И в полной мере оно присутствует у Бориса Лекаря. Удивление художника перед миром и собственным присутствием в нем. Наверно, поэтому мы уделяем время искусству. Для этого мы посещаем выставки и спектакли, мы ищем повод и тему для сопереживания, мы готовы разделить его с творцом. Кому как повезет – нам, зрителям и ему – создателю, пытающемуся собственным участием дополнить представление о мире. Личность творца значит не меньше, чем сделанные им открытия, так же (или почти так же, чтобы не брать на себя лишнего) как природа божественного включает в себя сотворенный мир.

Рамка – края холста или листа акварели ограничивают пространство, наделяют его содержимое свойствами оптического феномена. И определяют достоверность увиденного, делают его реальным. Мы приобщаемся к зрению художника, мы доверяем ему, а он вводит нас в свой мир. Нравится нам там, в его мире или нет – это уже другое дело, но мы вместе присутствуем в его пространстве, вмещающем свойства его личности, особенности биографии, умения видеть и передать увиденное. Ничто не существует отдельно. Он так живет, так рассказывает, мы так отзываемся.

Мы смотрим, мы вникаем, мы понимаем, с кем имеем дело. Мы ждем продолжения... Но мир Бориса Лекаря остановлен. Продолжения не будет. Остается оценить, что сделано, что есть. Явление требует комментариев. Человек посетил наш мир, расхаживал в нем (в Киеве, Иерусалиме, еще где-то...), чувствовал, искал, находил вдохновение,... работал – простое слово, но сколько в себя вмещает. Волшебство и творчество – занятия приближенные по своей сути. Та самая рамка и ее содержимое – обособление сотворенного, создание для нашего совместного видения и переживания, сочувствия и доброты. Мы входим в этот мир...

192